

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

М Горький

Максим Горький
Жизнь Матвея Кожемякина

«Public Domain»

1909-1911

Горький М.

Жизнь Матвея Кожемякина / М. Горький — «Public Domain»,
1909-1911

«Тетрадь лежит перед ним на косо́й доске столика-пюпитра; столик поставлен поверх одеяла, а ножки его врезаны в две дуги, как ноги игрушечного коня. С правого бока стола привешена на медной цепочке чернильница; покачиваясь, она бросает на одеяло тень, маленькую и тёмную, как мышь. В головах кровати, на высокой подставке, горит лампа, ровный свет тепло облил подушки за спиной старика, его жёлтое голое темя и большие уши, не закрытые узеньким венчиком седых волос. Когда старик поднимает голову – на страницы тетради ложится тёмное, круглое пятно, он гладит его пухлой ладонью отёкшей руки и, прислушиваясь к неровному биению усталого сердца, прищуренными глазами смотрит на белые изразцы печи в ногах кровати и на большой, во всю стену, шкаф, тесно набитый чёрными книгами...»

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Максим Горький

Жизнь Матвея Кожемякина

Часть первая

По ночам, подчиняясь неугомонной старческой бессоннице, Матвей Савельев Кожемякин, сидя в постели, вспоминает день за днём свою жизнь и чётко, крупным полууставом, записывает воспоминания свои в толстую тетрадь, озаглавленную так:

«Мысленные и сердечные замечания, а также некоторые случаи из жизни города Окурова, записанные неизвестным жителем сего города по рассказам и собственному наблюдению».

Ниже, почерком помельче, приписано:

«Для чтения с доверием и для познания скорбной жизни уездного русского города».

Тетрадь лежит перед ним на косо́й доске столика-пюпитра; столик поставлен поверх одеяла, а ножки его врезаны в две дуги, как ноги игрушечного коня. С правого бока стола привешена на медной цепочке чернильница; покачиваясь, она бросает на одеяло тень, маленькую и тёмную, как мышь. В головах кровати, на высокой подставке, горит лампа, ровный свет тепло облил подушки за спиной старика, его жёлтое голое темя и большие уши, не закрытые узеньким венчиком седых волос. Когда старик поднимает голову – на страницы тетради ложится тёмное, круглое пятно, он гладит его пухлой ладонью отёкшей руки и, прислушиваясь к неровному биению усталого сердца, прищуренными глазами смотрит на белые изразцы печи в ногах кровати и на большой, во всю стену, шкаф, тесно набитый чёрными книгами.

Сосредоточенно обращённый в прошлое взгляд старика медленно бродит в сумраке большой комнаты, почти не видя расплывшихся очертаний давно знакомых вещей, – их немного, все они грузные и стоят, точно выросли в пол. Простор комнаты пустынен, и сумрак её холоден.

За книжным шкафом – дверь, от неё к передней стене вытянулся ещё шкаф, тоже полный книг. Два окна плотно закрыты ставнями, в простенке – старинное овальное зеркало в золотой фигурной раме, под зеркалом диван, перед ним стол с выгнутыми ногами, а на столе старинная библия в коже; блестит серебро её застёжек. Около стола растопырились кресла в чехлах из парусины, на полу – толстая серая кошма. В переднем углу за кроватью – тройной киот, в нём девять икон. Задумчиво потрескивая, горит хрустальная лампада на серебряных цепях, освещая вверху ласковые лики Иисуса, богородицы, Ивана Крестителя, в середине Николая Чудотворца, Не рыдай мене матери и Василия Блаженного, а в нижнем ряду образа Кирилла и Мефодия, Антония и Феодосия и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы.

Над постелью, в рамках из сосновых шишек, – две фотографии: кабинетный портрет молодой женщины с кудрявым ребёнком на коленях, – обе фигуры расплылись и подобны отражению в текущей воде.

Матвей Кожемякин долго, не мигая глазами, смотрит на портреты, потом, крестясь, тихо шепчет:

– О, господи многомилостливый! Продли дни моя для ради завершения дела любви моея и совести!

И, осторожно омакнув перо в чернильницу, покорно склоняя голову, он не спеша, чётко пишет в тетрадке:

«Оканчивая воспоминания мои о жизни, столь жалостной и постыдной, с горем скажу, что не единожды чувствовал я, будто некая сила, мягко и неощутимо почти, толкала меня на

путь иной, неведомый мне, но, вижу, несравнимо лучший того, коим я ныне дошёл до смерти по лени духовной и телесной, потому что все так идут. Но не понял я вовремя наставительных и любовных усилий жизни и сопротивлялся им, ленивый раб, когда же благодатная сила эта всё-таки незаметно овладела мною – поздно было. Вкушая, вкусих мало мёда и се – аз умираю».

Тишина в комнате кажется такой же плотной и серой, точно кошма на полу. С воли чуть слышно доносятся неясные звуки боязливой и осторожной ночной жизни города, они безличны и не колеблют ни устоявшейся тишины, ни мысль старика, углублённую в прошлое.

Он чувствует себя одиноко стоящим в пустоте, у подножия высокой горы; с её вершины, покрытой тёмной тучей, он тихо и безвольно скатился сюда – вот пред ним весь этот путь, он мысленно прошёл его десятки раз.

Ему шёл седьмой год, когда мать его вдруг исчезла из дома: она не умерла, а просто однажды ночью тайно ушла куда-то, оставив в памяти мальчика неясный очерк своей тонкой фигуры, пугливый блеск тёмных глаз, торопливые движения маленьких смуглых рук, – они всегда боязливо прятались. Ни одного слова её не осталось в памяти сына.

Отец – человек высокий, тучный, с большой рыжей и круглой, как на образе Максима Грека, бородою, с красным носом. Его серые глаза смотрели неласково и насмешливо, а толстая нижняя губа брезгливо отвисала. Он двигался тяжело, дышал шумно и часто ревел на стряпуху и рабочих страшным, сиплым голосом. Матвей долго боялся отца, но однажды как-то сразу и неожиданно полюбил его.

Было это на второй день пасхи; недавно стаял последний вешний снег, от земли, нагретой солнцем, густо поднимался тёплый и душистый парок, на припёке появились прозрачные, точно кружева, зелёные пятна милой весенней травы.

Матвей, в розовой рубахе из канауса¹, ходил по двору вслед за отцом, любуясь блеском солнца на лаковых голенищах новых сапог.

– Что-о, Муругой, – сказал отец, приседая на корточки перед конурой собаки, – что, пёс, скушно, а? Скушно?

Из круглого выреза конуры, грохнув цепью, вырвался Муругой, – отец крикнул, взмахнул рукой и окропил лицо сына тяжёлыми каплями тёплой влаги.

Прибежали люди, началась суета и шум, темнобровая, пышная стряпуха Власьева повязывала руку отца полотенцем, а он топал ногами, ругался и требовал ружьё. Гремя цепью, собака яростно металась, брызгала пеной и выла тоскливо, страшно.

Широкорожий и рябой дворник Созонт принёс ружьё, отец, опустясь на колено, долго водил стволом вслед за движениями собаки, целясь в её красную, влажную пасть, в жёлтые клыки, а Созонт глухо ворчал:

– Не надо бы...

Бухнул выстрел, отец, окутавшись синим дымом, покачнулся и сел, – пегий лохматый пёс встал на задние лапы, натянув цепь, зарычал, судорожно отирая передними овлажнённую кровью морду, потом свернулся набок, громко щёлкнув зубами. Толкнув собаку сапогом в морду, отец сказал Созонту:

– В глаза попало...

Власьева, протягивая ковш воды, плачевно ныла:

– Савёл Иваныч, помой руку-то!

– Тебя тоже из поганого ружья пристрелить надо! – закричал отец, взмахивая здоровой рукой. – Говорил – не корми мясом! Сазан, иди, зови лекаря!

Он стал разматывать красное полотенце с руки, а Матвей, замирая от страха и любопытства, принял ковш из рук Власьевны и бросил его, налив себе воды в сапоги: он увидел, что из отверстия конуры выкинулся гибкий красный язык огня, словно стремясь лизнуть отцовы

¹ Персидская шёлковая ткань, из сырца или полусырца – *Ред.*

ноги. Но отец тотчас схватил собачий дом, опрокинул его и стал вытряхать горящую солому, под ногами у него сверкали жёлтые цветки, они горели у морды собаки, вспыхивали на её боках; отец весь курился серым дымом, фыркал и орал, мотая головою из стороны в сторону.

От едкого запаха тлеющей соломы и палёной шерсти у мальчика закружилась голова, он присел на ступени крыльца и, готовый плакать, со страхом ждал, что скажет отец, пристально смотревший на него, взвешивая пораненную руку на ладони здоровой.

А он вдруг подошёл, сел рядом и кротко спросил:

– Испугался, брат?

– Испугался.

– Ну, ничего! Я тоже испугался...

Матвей искоса поглядел на отца, не веря ему, удивляясь, что такой большой, грозный человек так просто, не стыдясь, говорит о своём испуге.

– Жалко мне, – сказал он, подумав.

– Собаку-то?

– Тебя.

– Ме-ня? – странно протянул отец.

– Огонь-то как на тебя. Как пыхнет! Он – откуда это?

– От пыжа. Знаешь – затычка в ружьё кладётся, пенька?²

Матвей тесно прижался к плечу отца, заглянув в его полинявшее лицо и отуманенные глаза.

– Больно болит рука-то?

Отец смешно оттопырил нижнюю губу, косо поглядел на руку и ответил новым голосом:

– Ничего. Левая.

До этого дня мальчик почти никогда не беседовал с ним так хорошо, и теперь у него сразу возникло желание спросить большого рыжего человека о множестве вещей. Между прочим, ему казалось, что отец неверно объяснил появление огня – уж очень просто!

– Тятя, у собаки есть душа?

– Ну, зачем ей! – молвил отец.

Помолчав, мальчик тихонько протянул:

– Ка-ак он на тебя фукнул, огонь-то!

Отец положил на голову ему тяжёлую мохнатую руку и необычно ласково заговорил:

– Жаль собаку-то! Девять лет жила. Ну однако хорошо, что она меня цапнула. Вдруг бы тебя, а? Господи помилуй!

Лицо его покраснело, рыжие брови сурово сдвинулись и опустились на глаза. Но это не испугало Матвея, он ещё ближе пододвинулся к отцу, ощущая теплоту его тела.

На двор вкатился маленький и круглый человечек, весёлый, одетый в смешную клетчатую хламиду и штаны навыпуск. Отец ушёл с ним в горницу, сказав:

– Ты не ходи, Мотя, тебе не к чему глядеть на кровь...

Оставшись на крыльце, мальчик вспомнил, что, кроме страха перед отцом, он носил в своей душе ещё нечто тягостное.

Вскоре после того, как пропала мать, отец взял в дом ласковую слободскую старушку Макарьевну, у неё были ловкие и тёплые руки, она певучим голосом рассказывала мальчику славные жуткие сказки и особенно хорошо длинную историю о том, как живёт бог на небесах:

Сидит грозен бог на престоле златоогненном,

² **Пенька** – волокна конопли, отделённые мочкою в воде, мятьём в мялке, трёпкой и чёской от кострыги (кострики) или деревянистых частей и коры – *Ред.*

Предстоять ему серафими, херувими, светли ангели,
День и ночь всё поють они да славу богу вечному.
А как просить царя-то небесного о милости грешникам,
Со стыда в очи грозные, божий, поглядеть не решаются...

Когда она напевала эту песнь – её чёрные, добрые глазки блестели мелкими, как жемчужинки на ризе иконы, слезами.

Но, прожив месяца три, она была уличена Власьевной в краже каких-то денег. Тогда отец, Созонт и стряпуха положили её на скамью посредине кухни, связали под скамьёю маленькие руки полотенцем, Власьевна, смеясь, держала её за ноги, а Созонт, отвернувшись в сторону, молча и угрюмо хлестал по дрожавшему, как студень, телу тонкими прутьями.

Макарьевна бормотала, точно водой захлёбываясь:

– Батюшки, помилуйте! Не виновата я перед господом... не виноватую... у-у...

– Сыпь, Сазан! – покрикивал отец, стоя у печи и крепко держа Матвея за руку.

А Власьевна, подмигивая на дворника, говорила:

– Гляди-ко – стыдится, морду-то отворотил как, а, мамоньки!

Матвей хотел попросить отца не сечь старуху, но не решился и горько заплакал.

– Будет! – сурово крикнул Кожемякин.

Тот день вечером у постели мальчика сидела Власьевна, и вместо тихих сказок он слышал жирные, слащавые поучения.

– Надо быть умненьким, тятеньку жалеть да слушаться, а ты от него по углам прячешься – что это?

Потом явилась дородная баба Секлетя, с гладким лицом, тёмными усами над губой и бородавкой на левой щеке. Большеротая, сонная, она не умела сказывать сказки, знала только песни и говорила их быстро, сухо, точно сорока стрекотала. Встречаясь с нею, отец хитро подмигивал, шлёпал ладонью по её широкой спине, называл гренадёром, и не раз мальчик видел, как он, прижав её где-нибудь в угол, мял и тискал, а она шипела, как прокисшее тесто.

Власьевна плакала, грозилась:

– Уйду! Еретик...

Но ушла Секлетя.

В тот день, когда её рассчитали, Матвей, лёжа на постели, слышал сквозь тонкую переборку, как отец говорил в своей комнате:

– Ну, чего орала да куксилась, дура толстомяся?

– Дорогуша ты моя, сердечная, – слащаво ныла Власьевна.

– Не лезь. Думаешь, не всё равно мне, какая баба? Не о себе у меня забота...

– Да уж я ли Мотеньке не слуга...

– Ему мать надобно...

Мальчик завернулся с головою в одеяло и тихонько заплакал.

Но теперь ему хотелось забыть, как секли ласковую старушку, а разговор отца с Власьевной хорошо и просто объяснял всё неприятное и ззорное:

«Это он – для меня...»

Отец выглянул в окно, крикнув:

– Моть, иди чай пить!

Пили чай, водку и разноцветные наливки, ели куличи, пасху, яйца. К вечеру явилась гитара, весёлый лекарь разымчиво играл трепака, Власьевна плясала так, что стулья подпрыгивали, а отец, широко размахивая здоровой рукой, свистел и кричал:

– Делай, ведьма! Моть – поди сюда! Любишь, стало быть? Эх, мотыль мой милый, монашкин сынок! Не скучай!

Он дал сыну стаканчик густой и сладкой наливки и, притопывая тяжёлыми ногами, качая рыжей, огненной головой, пел в лицо ему удивительно тонким и смешным голосом:

Вот во поле, на лужку
Стоит бражка в туюску,
Она пьяная – хмельна,
Крепче всякого вина...

Матвею почему-то было жалко отца; ему казалось, что вот он сейчас оборвёт песню и заплачет.

– Марков – подкладывай огня! Ох, ты! Крутись! – командовал отец.

Коротенький лекарь совсем сложился в шар, прижал гитару к животу, наклонил над нею лысую голову, осыпанную каплями пота; его пальцы с весёлою яростью щипали струны, бегали по грифу, и мягким тенорком он убедительно выговаривал:

И поп – помрёт,
И солдат – помрёт,
Только тот не помрёт,
Кого смерть не возьмёт!

– И-их! – визжала Власьева, отчаянно заламывая руки над головой.

– Марков! – вопил отец. – Гляди, а? Это ли не зверь, а?

– Холмы-горы! – отзывался лекарь, брызгая весёлым звоном струн, а Матвей смотрел на него и не мог понять – где у лекаря коленки.

Вдруг явился высокий, суровый Пушкарь, грозно нахмурил тёмное бритое лицо и спросил хриплым голосом:

– За что Муругого убили, беси?

Отец поднял завязанную руку, махая ею.

– Видал? Сустав с мизинца – напрочь! Марков ножницами отстриг. Садись, служба!

– Ещё башку тебе отстригут, погоди! – предупредил солдат, усмехаясь и взяв Матвея за руку.

– Айда спать!

Через несколько дней, в воскресенье, отец, придя из церкви, шагал по горнице, ожидая пирога, и пел:

От юности моя
мнози борют мя страсти,
Но сам мя заступи
и спаси, спасе мой!

Со двора в окно, сквозь узорные листья герани, всунулось серая голова Пушкаря. Он кричал:

– Опять кощунись, Савёл? Опять носам?

– Поди прочь! – сказал отец, не останавливаясь.

– Я те говорю – осанна заступи! Осанна, а не – носам!

Отец подошёл к окну и, ударив себя кулаком в грудь, внушительно заговорил:

– Сам! Понимаешь, старый чёрт? Не я, а – бог! Но сам...

В окно полился торжествующий рёв:

– Ага-а, запутался, еретик! Я – не я, сам – не сам...

– Уйди!

– Осанну господню не тронь...

– У-ух! – взвыл Савелий Кожемякин и, схватив обеими руками банку с цветком, бросил его в голову Пушкаря.

Это вышло неожиданно и рассмешило мальчика. Смеясь, он подбежал к окну и отскочил, обомлев: лицо отца вспухло, почернело; глаза, мутные, как у слепого, не мигая, смотрели в одну точку; он царапал правой рукою грудь и хрипел:

– Господи! Иисусе... Иисусе...

Матвей выскочил вон из комнаты; по двору, согнув шею и качаясь на длинных ногах, шёл солдат, одну руку он протянул вперёд, а другою дотрагивался до головы, осыпанной землёю, и отряхал с пальцев густую, тёмно-красную грязь.

Матвей кинулся в амбар и зарылся там в серебристо-серой куче пеньки, невольно вспоминая жуткие сказки Макарьевны: в них вот так же неожиданно являлось страшное. Но в сказках добрая баба-яга всегда выручала заплутавшего мальчика, а здесь, наяву, – только Властьевна, от которой всегда душно пахнет пригорелым маслом.

На дворе раздался голос отца:

– Я вас, деймоны, потаскаю в амбар, запру и подожгу! Доведёте вы меня! Матвей! Мотюшка!

Вздрагивая от страха, мальчик выбрался из пеньки и встал в дверях амбара, весь опутанный седым волокном. Отец молча отвёл его в сад, сел там на дёрновой скамье под яблоней, поставил сына между колен себе и невесело сказал:

– Ну, что ты испугался? Пугаться вредно. Какая твоя жизнь будет в испуге да в прятышках? Не видал ты солдата пьяным?

– Ты ему голову разбил! – тихонько напомнил мальчик.

– Эка важность! На службе его и не так бивали.

Он долго рассказывал о том, как бьют солдат на службе, Матвей прижался щекою к его груди и, слыша, как в ней что-то хрипело, думал, что там, задыхаясь, умирает та чёрная и страшная сила, которая недавно вспыхнула на лице отцовом.

– Ты его не бойся! – говорил рыжий человек. – Он это так, со скуки дурит. Он ведь хороший. И дерутся люди – не бойся. Подерутся – помирятся.

Он говорил ласково, но нехотя, и слова подбирал с видимым трудом. Часто прерывая речь, смотрел в пустое небо, позёвывывая и чмокая толстой губой.

Жадно пили свет солнца деревья, осыпанные желтоватыми звёздочками юной листвы, тихо щёлкая, лопались почки, гудели пчёлы, весь сад курился сочными запахами – расцвела молодая жизнь.

– Спать хочешь? – грустно спросил Матвей.

– Нет, это так, от скуки зевается. В праздники всегда скушно.

– Ты и в будни часто про скуку говоришь.

– А и в будни не больно весело! – Кожемякин крепко стиснул сына коленями и как будто немного оживился. – Прежде веселее было. Не столь спокойно, зато – веселее. Вот я тебе когда-нибудь, вместо бабьих-то сказок, про настоящее поведаю. Ты уж большой, пора тебе знать, как я жил...

– Расскажи сейчас! – умильно попросил Матвей.

– Можно и сейчас! – подумав, молвил отец. – Вот, примерно, ходил я с отцом – дедом твоим – на расшиве, бечевой ходили, бурлаками, было их у нас двадцать семь человек, а дед твой – водоливом. Мужик он был большой, строгий, характерный...

Савелий Кожемякин прищурил глаза, крикнул и недоверчиво оглянул светло-зелёные сети ветвей.

– Предметы-те, Мотяй, всё больно сурьёзные, не уложатся они в малый твой разум! проговорил он, сомнительно разглядывая сына. – Погодить, пожалуй, надо нам беседы-то беседовать...

– Нет, ты, тятя, сейчас! – настаивал мальчик, отводя рукой бороду отца.

– Чекотно? – усмехаясь спросил Савелий. – Вот и мне тоже чекотно, как про старое-то вспомню.

Подумав, он плавно начал:

– Ну, – были мы люди костромские, жили на Ветлуге, в уголку, между двух рек, Ошмы да Нишмы, место глухое, лесное, место уютное, человеку и всякому зверю удобное. В Ошме да Нишме окуньё водилось и головли здоровенные, – ловил я их – без числа много! Самый знаменитый окунь – он в Которосль-реке живёт, около Ростова Великого, – вот, брат, город хорош! Звон там в соборе особенный и крепость неодолимая – ни татаре, ни поляки, ни даже сам Бонапарт не мог её взять! Храбрый был этот царь Бонапарт, умный был, Москву забрал и всю Русь, а тут – обошёл вокруг крепости ростовской, почесал переносицу, да и говорит генералам своим: «Нет, лыцари мои верные, айдате прочь! Этого города и нам не взять!» Это он обманул их. Тут, видишь ты, так было: покуда он на коне своём, один, ночью, вокруг крепости ехал, духовенство ростовское всё время, бесперечь, било в те кремлёвские колокола. А вылиты эти колокола из серебра, кое много лет у нищих выменивалось: дадут нищему монету серебряную, а Ростов-город и выменяет её на медь. Конечно, и обманывали нищих, но колокола от того обмана не страдали, а, может, даже зазывней звонят. Вот этот звон и разбередил Бонапарту душу, подумал он о ту пору: «Всё я забрал, а на что мне? Детей нету». Дети у него поумирили в то время. Так и остался Ростов не тронут... Ну, про окуней теперь: окунь, братец ты мой, рыба жадная да хитрая, и ловить её надо умеючи. Пошли мы однажды с отцом на Ошму, по окуня; идём лесом, темно, – вдруг навстречу нам сельца Болотина барин шагает, с ружьём, с сумой охотничьей. Отец – дед-от твой – шепчет мне: «Лезь в кусты!» Ну, сунулся я, притаился...

Кожемякин крикнул, замолчал и снова хмуро оглянул весь сад, посмотрел на главы монастырской церкви. Мальчик, тихонько расчёсывая пальцами густую бороду отца, нетерпеливо толкнул его локтем в грудь.

– Говори-и...

– Ну, – продолжал тот тихо и задумчиво, – вот, значит... После этого дедушка твой сбежал в Рыбный, в бурлаки...

– А барин? – спросил Матвей.

– Барин, – он так и того, – неохотно ответил Кожемякин, глядя в небо. – Тогда, брат, барин что хотел, то и делал; люди у него в крепостях были, лишённые всякой своей воли, и бар этих боялись пуще чертей али нечисти болотной. Сестру мою – тёткой, стало быть, пришлась бы тебе...

Большой рыжий человек вздохнул и, как бы жалуясь, молвил:

– Вот и опять... тут как только вспомнишь что-нибудь касательное жизни человеческой, так совсем невозможно про это ребёнку рассказать! Неподходящее всё... Ты иди-ка, посиди у ворот, – а я тут вздремну да подумаю...

Он разжал колени и легонько, заботливо отодвинул сына в сторону.

У ворот на лавочке сидел дворник в красной кумачной рубахе, синих штанах и босой. Как всегда, он сидел неподвижно, его широкая спина и затылок точно примёрзли к забору, руки он сунул за пояс, рябое скучное лицо застыло, дышал он медленно и глубоко, точно вино пил. Полузакрытые глаза его казались пьяными, и смотрели они неотрывно.

На все вопросы Матвея он неизменно отвечал:

– Не знаю. Кто его знает? Никто этого не знает...

Но иногда он, как будто совершенно опьянённый, начинал бормотать приглушённым голосом непонятные слова:

– Теперь – на дорогу бы выйти. Хохлы – они зовут дорогу – шлях. Шляются люди. Ежели всё прямо идти – куда придёшь в год время? Неизвестно. А в пять годов? Того пуще. Никто ничего не знает. А – сидят.

Потянувшись, он долго и пристально смотрел на свои ноги, словно не понимая, зачем они ему, а потом из его рта снова ползли одно за другим тяжёлые сырые слова:

– Во Пскове один человек говорил мне – я, говорит, шесть тыщ вёрст прошёл. Ну, что ж, говорю? Ничего, говорит. Видно, говорю, нет земле краю? Неизвестно, говорит. Потом – рубаху у меня украл.

Опять молчал, мысленно уходя куда-то, и, неожиданно толкнув Матвея, говорил:

– Ежели бы до морей дойти, – до предельных морей, которые без берегов лежат. Каспицкое – в берегах. Это известно от киргиз. Они круг его обходят. Киргизьё – колдуны больше...

От этого человека всегда веяло неизбывной тоской; все в доме не любили его, ругали лентяем, называли полоумным. Матвею он тоже не нравился – с ним было всегда скучно, порою жутко, а иногда его измятые слова будили в детской душе нелюдимое чувство, надолго загонявшее мальчика куда-нибудь в угол, где он, сидя одиноко целыми часами, сумрачно оглядывал двор и дом.

Дом Кожемякина раньше был конторою господ Бубновых и примыкал к их усадьбе. Теперь его отделял от земли дворян пустырь, покрытый развалинами сгоревшего флигеля, буйно заросший дикою коноплюю, конским щавелём, лопухами, жимолостью и высокой, жгучей крапивой. В этой густой, жирно-зелёной заросли плачевно торчали обугленные стволы деревьев, кое-где от их корней бессильно тянулись к солнцу молодые побеги, сорные травы душили их, они сохли, и тонкие сухие прутья торчали в зелени, как седые волосы.

Приземистый, построенный из кондового леса – в обхват бревно – дом Кожемякина стоял боком на улице, два его окна были скрыты от любопытных глаз палисадником и решёткою, а двор ограждён высоким забором с крепкими воротами на дубовых верях. Фасад, с резным крыльцом посередине, обращён во двор, из его шести окон виден тёмный и слепой, наглухо забитый верхний этаж барского дома, источенная ржавчиною рыжая крыша, обломанные ветром трубы, согнутые флюгера и презрительно прищуренные слуховые окна. Стёкла их выбиты, на чердаке барского дома живёт много сизых голубей, по крыше осторожно ходят голодные кошки, охотясь за тяжёлой, неумной птицей.

А из высокой крыши жилища Кожемякина, переломив её, неожиданно и странно высунулся чердак в два окна; их выцветшие радужные стёкла напоминают глаза совы, когда она днём, не мигая, смотрит на свет. По другую сторону дома – узкий и длинный сад, огороды и, за малинником, баня, между грядок свёклы, репы и моркови. Сад и огород тоже обнесены высоким забором, с гвоздями по гребню, за ним – сад монастыря; в густой зелени старых лип тонут голубые главы двух маленьких монастырских церквей – зимней и летней. Когда цветут липы, их жёлтый цветень, осыпаясь, золотит серые крыши монастырских строений, а одна липа так высока, что её пышные ветви достигают окон колокольни и почти касаются шёлковым листом меди маленьких колоколов.

Квадратный двор Кожемякина весь обстроен службами, среди них множество уютных углов; против ворот прочно осел в землю крепкий амбар. Выгоревший на солнце и омытый дождями, он туго набит облаками серовато-зелёной и серебристой пеньки; в сухую погоду его широкий зев открыт, и амбар кажется огромною печью, где застыл серый густой дым, пропитанный тяжким запахом конопляного масла и смолы. Сквозь амбар – ход на пустырь, там устроен канатный завод. Пустырь велик, выходит в поле и тоже весь зарос бурьяном, только посередине его протоптана широкая тропа, и над нею, вздрагивая, тянутся вдаль серые нити волокна пеньки. На конце пустыря они привязаны к салазкам, нагруженным кирпичами, и по мере того, как шнуры, свиваясь, укорачиваются, салазки, вздрогнув, скрипят и подвигаются

вперёд. Под шнурами стоят деревянные гребни, между зубьями их беззвучно дрожат серые струны, а четверо рабочих с утра до вечера, изо дня в день медленно ходят вдоль этих струн, пятясь задом, точно привязанные к ним на всю жизнь. Они одеты в синюю посконь, босы, угрюмы; под ногами у них валяются бобины – конусообразные куски дерева.

Против ворот амбара, в крепком дубовом стане, медленно вращается вертикальное колесо, с железными крючьями в центре – от них и текут тонкие ручьи волокна, а вертит колесо полуслепой и полоумный мужик Валентин.

Колесо тихо скрипит, Валентин гнусаво и немолчно поёт всегда одну и ту же песню, слов которой Матвей никогда не мог расслушать. Двое мужиков работали на трепалах, двое чесали пеньку, а седой Пушкарь, выпачканный смолою, облепленный кострикой³ и серебряной паутиной волокна, похож на старого медведя, каких водят цыгане и бородатые мужики из Сергача.

Все двигаются не торопясь и молча, а он вертится около головки – у колеса, шупает чёрными пальцами натяжение струн, приседая, смотрит узкими глазами вдоль них и бежит на прямых ногах в конец пустыря, чтобы облегчить или прибавить груз. Кашляет, ворчит, садится на обрубок бревна, хватая счёты и, держа их на весу, передвигает взад и вперёд косточки, они прилипают к его пальцам, не ходят по изогнутой проволоке – солдат яростно ругается. Потом берёт узкую, длинную книгу и ковыряет в ней карандашом, часто обсасывая его синими губами. Он без шапки; его красное лицо в седой щетине подобно углю, покрытому пеплом.

В часы скуки Матвей влезал на дёрновую крышу землянки, где хранилась смола, масло и разные инструменты; она стояла под густой тенью старой ветлы. Отсюда мальчик видел весь пустырь, заросли сорных трав, покрытые паутиной пеньки, а позади пустыря, словно застывшие вздохи земли, бесплодной и тоскующей, лежали холмы, покрытые жёлтыми лютиками и лиловыми колокольчиками на тонких стеблях; по холмам бродили красные и чёрные коровы, серые овцы; в мутном небе таяло тусклое солнце, обливая скудную землю влажным зноем. Холмы опускались куда-то, из-за их лысоватых вершин был виден тёмный гребень леса. В душном воздухе резко выделялся запах конопли и просмолённой верёвки, заглушая пряные ароматы садов, где зрели яблоки, наливалась вишня и, склонясь к земле, висели тяжёлые гроздья пахучей чёрной смородины.

Справа – развалины флигеля и мёртвый барский дом, слева – тихий монастырь, и отовсюду в маленькую одинокую душу просачивалась скука, убивавшая желания; они тонули в ней, как солнечные лучи в тёплой воде нагретого ими болота.

Пушкарь старался развлекать Матвея. Увидав его, он хрипло кричал:

– Эй, лезь сюда!

И рассказывал ему что-нибудь о трудной солдатской жизни, а однажды предложил:

– Хошь, я тебе песню спою? Ха-арошую песню вспомнил!

Не ожидая ответа, он плачевно сморщил лицо, завёл глаза под лоб и тонким бабьим голосом пропел:

Аф-фицеры очень стро-оги...

Но вдруг зверски вытаращил глаза и хриплым басом отрубил:

Оч-чень строги!

И снова уныло завёл:

Сулят нам побои мно-оги...

³ Кострика (кострыга) отходы трепания и чесания конопли – *Ред.*

И снова рывкнул:

Э-эхма, – многи!

А потом закрыл глаза и, безнадежно покачивая головою, заунывно и тонко протянул:

Впе-ерёд ве-елят ийти-ить!

Солдат пел смешно, но песня показалась Матвею унылою.

– Не пой! – попросил он.

– Не показалась песня? – сказал Пушкарь, немножко удивлённый. – Эх ты, мотыль! Это потому, что я её не с начала запел, а начало у неё хорошее!

Слышны весточки плачевны,
Всем народам объявленны:
Рекрутской набор Людям перевод!

– Ну тебя! – молвил Матвей и убежал от него.

Иногда его ловила Власевна и, важно надув губы, усаживала в кухне за стол против себя.

– Давай-ка, побеседуем чинно да скромненько, чем паучком-то в уголку сидеть.

И строго спрашивала:

– Меру возраста господня знаешь?

– Нет! – сурово отвечал мальчик, не глядя на неё.

– А ты в глаза мне гляди, – предлагала пышная стряпуха, – так-то не запомнишь! Знай, мера эта – 33! А какое есть число прародителей господних от Адама?

– Не знаю.

– 300! Теперь – гляди...

И хитреньким голоском она продолжала:

– И задумал злой сатана антихрист – дай-де возвеличу себя вдвое супротив Христа! Удвоился, взял себе число ббб, а что крест складывается из трёх частей, не из шести – про это и забыл, дурак! С той поры его всякому видно, кто не шепотник, а истинной древней веры держится.

Об антихристе она говорила не часто, но всегда безбоязненно и пренебрежительно; имя божие звучало в устах её грозно; произнося его, она понижала голос, закатывала глаза и крестилась. Сначала Матвей боялся бога, силы невидимой, вездесущей и всезнающей, но постепенно и незаметно привык не думать о боге, как не думал летом о тепле, а зимою о снеге и холоде.

Больше всего дородная стряпуха любила говорить о колдунах, ведьмах и чародействе; эти рассказы Матвей слушал жадно, и только они смягчали в нём непобедимое чувство неприязни к стряпухе.

Говоря о колдовстве, она понижала голос до жуткого шёпота, её круглые розовые щёки и полная, налитая жиром шея бледнели, глаза почти закрывались, в словах шелестело что-то безнадежное и покорное. Она рассказывала, как ведуны вырезают человеческий след и наговорами на нём сушат кровь человека, как пускают по ветру килы⁴ и лихорадки на людей, загоняют под копыта лошадей гвозди, сделанные из гробовой доски, а ночью в стойло приходит мертвец, хозяин гроба, и мучает лошадь, ломая ей ноги.

⁴ Кила – грыжа — *Ред.*

Каждый раз мальчик замечал, что, наговорив о злой силе ведьм и колдунов много страшного, Власьевна вдруг как будто сама пугалась и торопливо, жарким шёпотом убеждала его:

– Только ты не думай, что все они злые, ой, нет, нет! Они и добрые тоже, добрых-то их ещё больше будет! Ты помни – они всех трав силу знают: и плакун-травы, и тирлич, и кочедыжника, и знают, где их взять. А травы эти – от всех болезней, они же и против нечистой силы идут – она вся во власти у них. Вот, примерно, обает тебя по ветру недруг твой, а ведун-то потрёт тебе подмышки тирлич-травой, и сойдёт с тебя обаяние-то. Они, батюшка, много добра делают людям!

– Они – угодники? – спросил Матвей.

Власьевна, подумав, нерешительно сказала:

– Нет, богу, чай, те угодны, которые в монастырях, в пустынях спасаются, а эти ведь прямо против нечистых-то идут...

– Бог – помогает им?

– А как же! Он, батюшка, всем помогает.

– А он бы лучше громом побил злых-то колдунов!

Власьевна вздохнула и ответила:

– Жалеет, видно! Всё-таки – его тварь.

Но глубже всех рассказов той поры в память Матвея Кожемякина врезался рассказ отца про Волгу. Было это весенним днём, в саду, отец только что воротился из уезда, где скупал пеньку. Он приехал какой-то особенно добрый, задумчивый и говорил так, точно провинился пред всем миром.

Сидели за столом в малиннике; Савелий Кожемякин тряхнул головой, вобрал в грудь много воздуха и протянул руку.

– И вот – река Волга-матушка, братец ты мой! Ширины она огромной, глубока, светла и течёт... как будто в грудь тебе течёт, али бы из груди твоей льётся, – это даже невозможно понять, до чего хорошо, когда лежит пред тобою широкий путь водный, солнышком озолоченный! И бегут по нём, как лебедя, косовые лодки грудастые, однокрылые, под одним, значит, белым парусом. Золотые беляны с тёсом вальяжно, как дворянки в кринолинах, не спеша спускаются; тут тебе мокшаны и коломенки, и разного фасона барки да баржи, носа свои пёстрые вверх подняв, весело бегут по синей-то реке, как на бархате шёлком вышиты. На иных паруса кумачом оторочены, мачты-деревя вертунами золочёными украшены: где – стрела, где – петух, где рука с мечом, это – чтобы ветер показывать, а больше – для красоты. Которые палубы крышами крыты, а по крышам коньки резаны, тоже кочета или вязь фигурная, и всё разными красками крашено, и флажки цветные на мачтах птицами бьются; всё это на реке, как в зеркале, и всё движется, живёт, – гуляй, душа!

Он говорил тихо и как бы на распев церковный. Толстые пальцы протянутой вперёд руки легонько шевелились, точно он псалом царя Давида на гусях играл. Потом, опустив руку, он стал чертить пальцем на доске стола круги и кресты, задумчиво продолжая:

– Идёшь ты на барже, а встречу тебе берега плывут, деревни, сёла у воды стоят, лодки снуют, словно ласточки, рыбаки снасть ставят, по праздникам народ пёстро кружится, бабы сарафаны полымем горят – мужики-то поволжские сыто живут, одеваются нарядно, бабы у них прирабатывают, деньги – дороги, одежда – дешёва! Взглянешь, бывало, на берег, вспыхнет сердце – загогочешь во всю силу – эй, вы, жители! Здорово ли живём? Бечевой бурлаки согнувшись идут, как баранки на мочало вздетые – маленькие они издаля-то! Песни гудут, ровно бы большущие пчёлы невидимо летят. А ночью – потемнеет река, осеребрится месяцем, на привалах огни засветятся, задрожат на чёрной-то воде, смотрят в небо как бы со дна реки, а в небе – звёзды эти наши русские, и так мило всё душе, такое всё родное человеку! Обнимает Волга сердце доброй лаской, будто говорит тебе: «Живи-де, браток, не тужи! Чего там?» Волга, Матвей, это уж воистину за труд наш, для облегчения от бога дана, и как взглянешь на неё –

окрылится сердце радостью, ничего тебе не хочется, не надобно, только бы плыть – вот какая разымчивая река!

Он замолчал, вздохнув, и опустил голову; молчал и мальчик, охваченный светлым чувством гордости: никогда ещё отец не говорил с ним так мягко и сердечно.

– Теперь – про себя расскажи! – попросил он наконец.

– Про себя? – повторил отец. – Я – что же? Я, брат, не умею про себя-то! Ну, как сбежал отец мой на Волгу, было мне пятнадцать лет. Озорной был. Ты вот тихий, а я – ух какой озорник был! Били меня за это и отец и многие другие, кому надо было. А я не вынослив был на побои, взлупят меня, я – бежать! Вот однажды отец и побей меня в Балахне, а я и убёг на плотках в Кузьдемьянск. С того и началось житьё моё: потерял ведь я отца-то, да так и не нашёл никогда – вот какое дело!

Сдвинув рыжие брови, он гулко крикнул, перекрестился, задев сына рукою по щеке, и крепко прижал его к себе.

– Не по возрасту тебе эти рассказы, зря это я! Кабы ты старше был...

– Мне уж одиннадцатый год! – напомнил Матвей.

– Велико дело! Ну, я прилягу, вздремлю. Поди-ка, скажи Власьевне – войлок бы мне принесла.

– Я сам...

– Нет, лучше она...

Матвею стало грустно, не хотелось уходить. Но когда, выходя из сада, он толкнул тяжёлую калитку и она широко распахнулась перед ним, мальчик почувствовал в груди прилив какой-то новой силы и пошёл по двору тяжёлой и развалистой походкой отца. А в кухне – снова вернулась грусть, больно тронув сердце: Власьевна сидела за столом, рассматривая в маленьком зеркальце свой нос, одетая в лиловый сарафан и белую рубаху с прошвами, обвешанная голубыми лентами. Она была такая важная и красивая.

«Лучше меня!» – завистливо подумал он и грубым голосом сказал:

– Эй, отнеси, поди, тятё серый войлок!

Она быстро взглянула на него, покраснела и убежала в горницу отца; её торопливость понравилась Матвею; нахмутив брови, он поднял голову и важно вышел за ворота.

Ему было не велено выходить на улицу без Созонта, и раньше он никогда не решался нарушать запрет отца, но сегодня захотелось посидеть у ворот одному.

Тёплое небо было пусто, и на улице – ни души; жители, покушав пирогов, дремали в этот час. Где-то вдали скрипела верёвка качелей, взвизгивали девицы, а с реки долетал смягчённый и спутанный далью крик ребят. Вдоль улицы, налитой солнцем, сверкали стёкла открытых окон, яркие пятна расписных ставен; кое-где на деревьях в палисадниках люди вывесили клетки с птицами; звонко пели щеглята, неумолчно трещали весёлые чижи; на окне у Базуновых задумчиво свистела зарянка – любимая птица Матвея: ему нравилось её скромное оперение, красная грудка и тонкие ножки, он любил слушать её простую грустную песенку, птица эта заставляла его вспоминать о матери.

Весенние песни пленных птиц заглушал насмешливый свист скворцов. Чёрные и блестящие, точно маслом смазанные, они, встряхивая крыльями, сидели на скворешнях и, широко открывая жёлтые носы, дразнили всех, смешно путая песню жаворонка с кудахтаньем курицы. Матвей вспомнил, что однажды Власьевна, на его вопрос, почему скворцы дразнятся, объяснила:

– От зависти да со зла! Скворцы да воробьи в бога не верят, оттого им своей песни и не дано. Так же и люди: кто в бога не верит – ничего не может сказать...

Мальчик смотрел вдоль улицы, обильно заросшей травой, и представлял себе широкую синюю полосу Волги. Улица – река, а пёстрые дома в садах – берега её.

Но это не волновало сердца так приятно и бодро, как волновал рассказ отца.

Гулко щёлкнуло о скобу железо щеколды, из калитки высунулась красная голова отца, он брезгливо оттопырил губу, посмотрел вдоль улицы прищуренными глазами.

– Подь сюда!

А на дворе взяв сына за плечо, уныло заговорил:

– Вот оно: чуть только я тебе сказал, что отца не слушался, сейчас ты это перенял и махнул на улицу! А не велено тебе одному выходить. И ещё: пришёл ты в кухню – Власьевну обругал.

– Я не ругал! – угрюмо глядя в землю, сказал ней.

– Она говорит – ругал...

– Врёт она!

Долго и молча отец ходил по двору, заглядывая во все углы, словно искал, где бы спрятаться, а когда, наконец, вошёл в свою горницу, то плотно прикрыл за собою дверь, сел на кровать и, поставив сына перед собою, крепко сжал бёдра его толстыми коленями.

– Давай мы с тобой опять говорить... о делах серьёзных.

Положив тяжёлую руку на голову сына, другой, с отрезанным суставом мизинца, он отёр своё красное виноватое лицо.

– Хошь возраста мне всего полсотни с тройкой, да жизнь у меня смолоду была трудная, кости мои понадломлены и сердце по ночам болит, не иначе, как сдвинули мне его с места, нет-нет да и заденет за что-то. Скажем, на стене бы, на пути маятника этого, шишка была, вот так же задевал бы он!

Матвею стало жалко отца, он прижался к нему и сказал:

– Это пройдёт.

Старик приподнял глаза к потолку, борода его затряслась, губа отвисла, и, вздохнув, он прошептал:

– Умрёшь – всё пройдёт, да вот – пока жив – мешает.

Рука его как будто стала ещё тяжелей.

– И, – сказал он, глядя в окно, – затеял я жениться...

– На Власьевне? – спросил сын, спрятав голову под бородой отца.

– Не-ет, на другой...

Облегчённо вздохнув, Матвей улыбнулся и молвил:

– Это хорошо, что не на ней!

– Ну-у? Али хорошо?

– А как же! – горячо и быстро шептал мальчик. – Она вон всё про колдунов говорит!

– Я, брат, в эти штуки не верю, нет! – весело сказал отец. – Я, брат, колдунов этих и в будни и в праздники по мордам бивал, – в работниках жил у колдуна – мельник он, так однажды, взяв его за грудки...

Он оборвал речь, прикрыл глаза и, печально качая головою, вздохнул.

– Так вот, – значит, будет у тебя мачеха...

– Молодая? – спросил Матвей.

– То-то, что молодая!

Матвей знал, зачем люди женятся; откровенные разговоры Пушкаря, рабочих и Власьевны о женщинах давно уже познакомили его с этим. Ему было приятно слышать, что отец бросил Власьевну, и он хотел знать, какая будет мачеха. Но всё-таки он чувствовал, что ему становится грустно, и желание говорить с отцом пропало.

– О, господи, господи, – вздохнул старик. – Бабы, брат, это уж такое дело, – не понять тебе! Тут – судьба, не обойдёшь её. Даже монахи и те вон...

Едва перемогаясь, чтобы удержать слёзы, сын пробормотал:

– Была у тебя жена-то...

– Была, да – нет. А тебе надобен присмотр: женщину надо добрую да хорошую. Вот я и нашёл...

Поглядев на окно, где стояли два горшка с розанами и штоф какой-то золотисто-жёлтой настойки, он тихо продолжал:

– Мать твоя – она, брат, умница была! Тихая умница. И всё понимала, так жалела всех, что и верно – некуда ей было девать себя, кроме как в монастырь запереться. Ну, и заперлась...

Матвей вздрогнул, изумлённо и недоверчиво глядя в лицо отцу.

– Она разве в монастыре? В этом, в нашем?

– Нет, – сказал отец, грустно качнув головой, – она далё-еко! В глухих лесах она, и даже – неизвестно где! Не знаю я. Я с ней всяко – и страшал и уговаривал: «Варя, говорю, что ты? Варвара, говорю, на цепь я тебя, деймона, посажу!» Стоит на коленках и глядит. Нестерпимо она глядела! Насквозь души. Часом, бывало, толкнёшь её – уйди! А она – в ноги мне! И – опять глядит. Уж не говорит: пусти-де! – молчит...

Матвей заплакал: было и грустно и радостно слышать, что отец так говорит о матери. Старик, наклонясь, закрыл лицо его красными волосами бороды и, целуя в лоб, шептал:

– Глазёнки у тебя её, и ты тоже будто всё понимаешь, – эх, сынок мой! Сынишка ты монашкин...

Борода его стала сырой. В сердце мальчика ещё горячее и ярче вспыхнула любовь и жалость к большому рыжему человеку, в котором он чувствовал что-то хорошо знакомое детскому сердцу.

Теперь, когда Матвей знал, что мать его ушла в монастырь, Власьевна стала для него ещё более неприятна, он старался избегать встреч с нею, а разговаривая, не мог смотреть в широкое, надутое лицо стряпухи. И, не без радости, видел, что Власьевна вдруг точно сморщилась, перестала рядиться в яркие сарафаны, – плотно сжав губы, она покорно согнула шею.

Вскоре отец захворал, недели две он валялся по полу своей комнаты на широкой серой кошме, весь в синих пятнах, и целые дни, сидя около него, мальчик слушал хриплый голос, часто прерываемый влажным, глухим кашлем.

Окна были наглухо закрыты ставнями, комната полна сумрачной прохлады, и в чуткую память мальчика свободно и глубоко ложились простые отцовские рассказы.

– Я, брат, был мужик – распахни-душа, доверчивый, только обозлили меня разные жулики! Есть на Руси такие особые люди: будто он хороший и будто честно говорит – а внутри себя просто гнилой жулик: ни в нём нет веры ни во что, ни ему, сукиному сыну, ни в чём верить нельзя. Влезет эдакий в душу тебе, подобно червю, и незаметно источит её. А со мной дружбу легко начать: увижу, бывало, весёлого человека – вот мне и друг! Ну, жулики этим пользовались. Вот, Матвей, подрастёшь ты, может, услышишь про меня здесь худую речь – будто деньги я не добром нажил или там иное что, ты этому не верь!

– Не буду! – обещал сын.

– Не верь! Деньги – они всеми одинаково наживаются – удачей! Удачлив – наживёшь, неудачлив – хоть тысячу людей ограбь, всё нищим будешь. Это – вроде игры. Бывает – дойдёшь в игре до драки – эка беда! Нельзя иначе-то: положено нам судьбой жить в азарте. Я не хвастаюсь, может и нехорошо что делал, против божьих заповедей, так ведь и все против их! А которые стыдятся, они вон в леса, в скиты, в монастыри уходят. Не всем по монастырям жить, а то и монахи с голоду помрут. А один человек – не житель, рыба и та стаями ходит да друг друга ест...

– Супротив других я, думается, не крупен грешник. Ты вот возьми-ка губернию нашу, Воргород: тамошние богачи все разбойники! Соборный староста, судоходец Соковнин – я-то его больно хорошо знаю! – он с Максимом Башлыком в товарищах был. Максим этот, годах в двадцатых, а может и раньше, на верхнем плёсе атаманом ходил, Балахну грабил однажды, именитого купца Зуева вчистую обобрал – семь бочек одного серебра-золота увезли. Молодцов

у Максима немного было, а всё орёл к орлу, и ни одного из них, слышь, не поймали – смекай! А теперь этот Соковнин – благочестивый человек и у властей – в ласках. И многие этак-то! Масловы, рыбаки, от фальшивых денег вознеслись, а теперь старый-то Маслов золотую медаль носит. Ты не думай, я не осуждаю, а рассказываю. Тут вся верхняя Волга в старину-то разбоем жила, тем Воргород и славен, тем он и крепко встал. В каждой семье есть пятнышко, и, почитай, у всех в родне – монах али монахиня, а то скитница отмаливают грехи-то старинные. Разбои да фальшивые деньги, а после того – Севастопольская кампания: ратников на войну снаряжали – лыко за кожу шло по той поре. Метель была денежная, ассигнации снегом на головы падали, серебро мерками мерили! Лабзин-купец, хлебник большой, в сороковом году, в голод великий, приехал к Бутурлину – губернатору: жертвую, говорит, голодным три мерки серебра! Это сколько? – спрашивают. Три, говорит, мерки, а сколько в них – мне не счесть! Не жалели денег-то, вроде бар. Одна разница – баре искуснее жить умеют. Они, брат, – да, они могут!

Старик, улыбаясь, закрыл глаза, словно вспомнив что-то хорошее, и, помолчав немного, продолжал:

– Ты одно помни: нет худа без добра, а и добро без худа – чудо! Господь наш русский он добрый бог, всё терпит. Он видит: наш-то брат не столь зол, сколько глуп. Эх, сынок! Чтобы человека осудить, надо с год подумать. А мы, согрешив по-человечьи, судим друг друга по-звериному: сразу хап за горло и чтобы душа вон!

Слушая чудесные сказки отца, мальчик вспоминал его замкнутую жизнь: кроме лекаря Маркова и молодого дьячка Коренева, никто из горожан не ходил в гости, а старик Кожемякин почти никогда не гулял по городу, как гуляют все другие жители, нарядно одетые, с жёнами и детьми. Церковь они посещали Никольскую – самый бедный приход, а в монастыре, где молились лучшие люди города, Матвей никогда не был. Входя в свой тёмный и тесный старый храм, мальчик замечал, что народ расступается перед отцом нехотя, провожает его косыми взглядами, враждебным шёпотом.

Вспомнил он, как однажды Пушкарь шутя говорил Созонту:

– Откуда вы с хозяином – никому не известно, какие у вас деньги – неведомо, и кто вы таковы – не знатно никому! Вот я – я здешний, слободской человек и могу тебе дедов-прадедов моих с десятков назвать, и кто они были, и чем их били, а ты – кто?

– Так вот как она строго жизнь наша стоит! – говорил отец, почёсывая грудь. – И надо бы попроще как, подружнее жить, а у нас все напрягаются, чтобы чужими грехами свои перед богом оправдать али скрыть, да и выискивают грехи эти, ровно вшей в одежде у соседа, нехорошо! И никто никого не жалеет, зверьё-зверьём!

Матвей тихонько напомнил:

– А мать?

– Мать? – задумчиво переспросил старик. – Да-а, она жалела людей! Она слабая была, запуганная; у неё, видишь ты, отца с матерью на торговой площади кнутом били, а она это видела. Тут тоже не всё ладно: отец-то её богомаз был, в Елатье жили они – это на Оке есть такое жительство, – ну, так вот, он будто ризу снял с иконы, а мать – спрятала. Отец говорит: барин ризу снял, а не я! Барин – церковный староста, богатейший человек был, а с отцом у него нелады были. Тёмное дело! Посадили их под арест, а они – бежать, бариновы охотники – вослед и поймали их около Мурома, а отец-от Варварин отбиваться стал да зашиб, что ли, кого-то. Я о ту пору там был, в Елатье этой, как били их, стоял в народе, глядь девица на земле бьётся, как бы чёрной немочью схвачена. Ну, жалко стало? А как мать её с отцом в каторгу пошли, осталась она, Варвара-то, как овца в лесу. Женились мы, да вот сюда и приехали, купил я тут усадьбу эту и поставил завод. Канатное дело я хорошо прошёл, мне оно сначала приятно было; ходишь, бывало, вдоль струн да вспоминаешь прожитое, как бы на гусях играя. Ну, и зажили. Не больно весело, а дружно. Раз только из-за серёг вышло: были у меня серьги – яхонт-камень, жемчугом обложен, и подвески по жемчужине, с ноготь величиной, случаем они

мне достались – богатейшая вещь! На, говорю, Варюха, носи! А она не хочу, говорит. Душу, говорит, украшать надобно, а не тело. Я говорю – дура! Душа серёг носить не станет! Спорили, спорили...

Он искоса посмотрел на сына, закашлялся и умолк, прикрыв глаза.

Вскоре после болезни отец обвенчался. Невеста, молодая и высокая, была одета в голубой сарафан, шитый серебром, и, несмотря на жару, в пунцовый штофный душегрей. Её доброе, круглое лицо словно таяло, обливаясь слезами, и вся она напоминала речную льдину в солнечный весенний день.

Отец стоял в синей поддёвке и жёлтой шёлковой рубаше, на складках шёлка блестел огонь лампад, и Матвею казалось, что грудь отца охвачена пламенем, а голова и лицо раскалились.

Матвея нарядили в красную рубашу, плисовые синие штаны и сапоги зелёного сафьяна на мягкой подошве, по-татарски расшитые жёлтым и красным.

Свидетелями были лекарь, дьячок, Пушкарь и огромный чернобородый мужик из Балымер, Яков, дядя невесты. Венчались в будни, народу в церкви было немного, но в тёмной пустоте её всё время гулко звучал сердитый шёпот баб. Около Матвея стояла высокая, костлявая старуха, вся в чёрном, как монахиня, и шипела, перекоряясь с Власьевной.

– Тоже и про твоего хозяина нехорош слушок ходит...

– Всё-таки, сударыня моя, не чета он ей...

– Чёт – нечет, судьба мечет, а ты тут при чём будешь?

Матвей думал:

«Что ж отец Власьевну-то не прогнал?»

После обряда невеста попросилась идти домой по улице в венцах и с попом, но отец кратко сказал:

– Не надо!

По церкви поплыл глухой и грозный гул.

Шли домой. Матвей шагал впереди всех без картуза: он нёс на груди икону, держа её обеими руками, и когда, переходя дорогу, споткнулся, то услышал подавленный и как будто радостный крик Власьевны:

– Ой, запнулся!

Всю дорогу вслед за свадебным шествием бежала пёстрая собака; иногда она обгоняла людей; высокая старуха, забегая вперёд Матвея, грозила собаке пальцем и шипела:

– Чтоб те розорвало, окаянную!

А чернобородый мужик на всю улицу сказал:

– Пёстрое житьё-то сулит!

Пришли домой, на дворе бабы начали о чём-то спорить, молодая испуганно глядела на них голубыми глазами и жалобно говорила:

– Тётеньки, не знаю я, как это...

– Где хмель-от? – спрашивала чёрная старуха.

А кто-то злорадно удивлялся:

– Не знаи-ить, бабоньки, ай да молодуха! Не знать, слышите!

Толстая баба, похожая на двухпудовую гирию, дёргала молодую за рукав, убеждая:

– А ты – во-ой! Ты вой!

И вдруг молодуха, вытаращив глаза, пронзительно запела:

Ой, бедная я, несчастная,
Ни подружек у меня, ни сватеек,
Ни отца родного, ни матери,
Не подарят мне, сиротинушке,

Ни овечки, ни телёночка...

– Дура! – строго и презрительно закричала чёрная старуха. – Это когда надо было выть? Перед церковью, ду-урёха!

Отец растолкал баб, взял молодую за руку и, ласково усмехаясь, сказал:

– Ты погоди – побью, тогда и взвоешь.

Пришли поп, дьякон и дьячок Коренев; все гости ввалились со двора в комнаты, толкаясь, уселись за стол и долго в молчании ели свадебную лапшу, курник⁵, пили водку и разноцветные наливки.

Матвей сидел обок с мачехой, заглядывая в глаза её, полно налитые слезами и напоминавшие ему фиалки и весенние голубые колокольчики, окропленные росой. Она дичилась его, прикрывала глаза опухшими ресницами и отодвигалась. Видя, что она боится чего-то, он тихонько шепнул ей:

– Отец-то добрый...

Она вздохнула.

Пока за столом сидели поп и дьякон, все ели и пили молча, только Пушкарь неугомонно рассказывал что-то о военном попе.

– Хоть я, говорит, человек безоружный, но за уши вас оттаскать могу! Да и цап его за ухо, юнкера-то!

Поп звонко хохотал, вскидывая голову, как туго взнузданная лошадь; длинные волосы падали ему на угреватые щёки, он откидывал их за уши, тяжело отдувался и вдруг, прервав смех, смотрел на людей, строго хмурясь, и громко говорил что-нибудь от писания. Вскоре он ушёл, покачиваясь, махая рукою во все стороны, сопровождаемый старым дьяконом, и тотчас же высокая старуха встала, поправляя на голове тёмный платок, и начала говорить громко и внушительно:

– Не дело, боярин Савёл Иваныч, что обряда ты ни в чём соблюдать не хочешь, и тебе, Палагея, знать бы – не дело делаешь! В дом ты пришла – заздравной чары гостям не налила...

Отец чмокнул губой и громко проговорил:

– Налей сама да и вылакай, – ведьма!

– Брось, матушка! – сказал Яков, махнув рукою, и стал насыпать ложкой в стакан водки сахарный песок.

Баба, похожая на гирию, засмеялась, говоря:

– Какие уж порядки да обряды – цветок-от в курнике воткнут был совсем зря: всем ведомо, что невеста-то не девушка! Сорван уж давно цветочек-от!

Мачеха, наклоня голову, быстро перекрестилась; наклонив голову, Матвей услышал её шёпот:

– Богородица... благословенная...

Отец встал и рявкнул на баб:

– Цыц!

Словно переломившись в пояснице, старуха села, а он широко повёл рукою над столом, говоря спокойно и густо:

– Вас позвали не уставы уставлять, а вот – ешьте да пейте, что бог послал!

– А я не хочу есть! – заявил Яков, громко икнув и навалившись грудью на стол.

– Ну, пей!

– А я и пить не хочу! Вино твоё вовсе не вкусно.

– То-то ты сахару в него навалил!

– А тебе жаль?

⁵ Большой слоёный пирог — *Ред.*

Чернобородый мужик ударил ладонью по столу и торжествующе спросил:

– Ж-жаль?

– Ну, сиди! – сказал отец, отмахнувшись от него рукою.

Все кричали: Пушкарь спорил с дьячком, Марков – с бабами, а Яков куражился, разбивал ложки ударом ладони, согнул зачем-то оловянное блюдо и всё гудел:

– И сидеть не хочу! Я – гость! Ты думаешь, коли ты городской, так это тебе и честь?

Отец презрительно чмокнул и сказал:

– Эка свинья!

– Кто? – спросил Яков, мигая тупыми глазами.

– Ты!

Чернобородый мужик подумал, поглядел на хозяина и поднялся, опираясь руками о стол.

– Матушка! Марья! – плачевно крикнул он. – Айдайте отсюда!

Вскочила молодая, заплакала.

– Дяденька Яков! Баушка Авдотья, тётенька...

– Молчи! – сурово сказал отец, усаживая её. – Я свиньям не потатчик. Эй, ребята, проводите-тка дорогих гостей по шее, коли им пряники не по зубам пришлись!

Пушкарь, Созонт и рабочие начали усердно подталкивать гостей к дверям, молодая плакала и утирала лицо рукавом кисейной рубахи.

«Словно кошка умывается», – подумал Матвей.

Вдруг поднявшись на ноги, отец выпрямился, тряхнул головой.

– Эх, дружки мои единственные! Ну-ка, повеселимся, коли живы! Василий Никитич, доставай, что ли, гусли-то! Утешь! А ты, Палага, приведи себя в порядок – будет кукситься! Мотя, ты чего её дичишься? Гляди-ка, много ли она старше тебя?

– Стеня и трясыйся должен бы ты, Савелий, жить, – говорил дьячок, доставая гусли из ящика.

– А в нём – беси играют! – крикнул Пушкарь.

Матвей прижался к мачехе, она доверчиво обняла его за плечи, и оба они смотрели, как дьячок настраивает гусли.

Тонкий, как тростинка, он в своём сером подряснике был похож на женщину, и странно было видеть на узких плечах и гибкой шее большую широколобую голову, скуластое лицо, покрытое неровными кустиками жёстких волос. Под левым глазом у него сидела бородавка, из неё тоже кустились волосы, он постоянно крутил их пальцами левой руки, оттягивая веко книзу, это делало один глаз больше другого. Глаза его запали глубоко под лоб и светились из тёмных ям светом мягким, безмолвно говоря о чём-то сердечном и печальном.

Вот он положил гусли на край стола, засучил рукава подрясника и рубахи и, обнажив сухие жилистые руки, тихо провёл длинными пальцами вверх и вниз по струнам, говоря:

– Внимай, Савелий, это некая старинная кантата свадебная!

И приятным голосом запел, осыпая слова, как цветы росой, тихим звоном струн:

Венус любезная советовалася
Яблок, завистная, отнять,
Рекла бо: время нам скончати прения,
Сердца любовь спягати...

Матвей, видя, что по щекам мачехи льются слёзы, тихонько толкнул её в бок:

– Не плачь!

А дьячок торжественно пел, обливая его лицо тёплым блеском хороших глаз:

Загадка вся сия да ныне явная,

Невеста славная днесь приведётся;
Два сердца, две души соединились,
И – се – песнь брачная поётся...

– Не плачь, говорю! – повторил Матвей, сам готовый плакать от славной музыки и печали, вызванной ею.

Она наклонилась к нему и прошептала знакомые слова:

– Скушно мне...

– Хорошо, да не весело! – буйно кричал отец, выходя на середину горницы. – А нуте-ка, братцы, гряньте вдвоём что-нибудь для старых костей, уважьте, право!

– И веселие свято есть, и ему сердцем послужим! – согласно проговорил дьячок.

Марков схватил гитару, спрятал колени в живот, съёжился, сжался и вдруг залился высоким голосом:

Эх, да мимо нашего любимого села...

А дьячок ударил во все струны, осыпал запевку раскатистой трелью и сочно поднял песню:

Протекала матка Колыма-река...

Отец, передёрнув плечами, усмехнулся молодой, крикнул:

– Ну, Палага, выходи, что ли?

И, одна рука в бок, а другая за поясом, плавно пошёл вдоль горницы, встряхивая головой.

– Видно, идти мне! – робко сказала Палага, встав и оправляя сарафан.

А песня разгоралась:

Как по реченьке гоголюшка плывёт,
Выше бережка головушку несёт,
Ой, выше плечик крыльем взмахивает!..

Отец, как бы не касаясь пола, доплыл до Палаги и ударился прочь от неё, чётко и громко выбивая дробь каблуками кимряцких сапог. Тогда и Палага, уперев руки в крутые бёдра, боком пошла за ним, поводя бровями и как будто удивляясь чему-то, а в глазах её всё ещё блестели слёзы.

– Эхма, старость, – прочь с костей! – покрикивал Савелий Кожемякин.

Стречу гоголю да утица плывёт,
Кличет гоголя, ах, ласково зовёт!..

Палага, точно голубая птица, плавала вокруг старика и негромко, несмело подпевала:

Понеж люди поговорку говорят,
Будто с милым во любви жить хорошо...

У Матвея слипались глаза. Сквозь серое облако он видел деревянное лицо Созонта с открытым ртом и поднятыми вверх бровями, видел длинную, прямую фигуру Пушкаря, качавшегося в двери, словно маятник; перед ним сливались в яркий вихрь голубые и жёлтые пятна, от весёлого звона гитары и гуслей, разымчивой песни и топота ног кружилась голова, и мальчику было неловко.

Первый раз он видел, как пляшет отец, это нравилось ему и – смущало; он хотел, чтобы пляска скорее кончилась.

– Хозяин! – просачивался сквозь шум угрюмый голос дворника. – Народ собрался, поглядеть просятся... хозяин, народ там, говорю...

– Гони! – хрипло сказал Кожемякин, остановясь и отирая пот с лица.

– Лаются.

– Гони, говорю! Народ! Свиньи, а – тоже! – зверями себя величают...

– Ладу нет! Мы там пятеро...

– Ид-ди! – крикнул отец, и лицо его потемнело.

К Матвею подошла мачеха, села рядом с ним и, застенчиво улыбнувшись, сказала:

– Вот я как расхрабрилась...

Он вдруг охватил её за шею так крепко, как мог, и, поцеловав щёку её, промычал тихо и бессвязно:

– Ты не бойся... вместе будем...

Палага цапала его голову и, всхлипывая, шептала:

– Мотенька, – спасибо те! Господи! Уж я послужу...

– Савелий, гляди-ка! – крикнул лекарь. – Эге-ге!

Мальчик поднял голову: перед ним, широко улыбаясь, стоял отец; качался солдат, тёмный и плоский, точно из старой доски вырезанный; хохотал круглый, как бочка, лекарь, прищурив калмыцкие глаза, и дрожало в смехе топорное лицо дьячка.

– Каково? – кричал Марков. – Молодой – не ждёт, а?

– Это – хо-орошо! – усмехаясь, тянул отец и теребил рыжую бороду, качая головой.

Лицо мачехи побледнело, она растерянно мигала глазами, говоря:

– Он ведь сам это...

Матвей сконфузился и заплакал, прислонясь к ней; тогда солдат, схватив его за руку, крикнул:

– Пошли прочь, беси! Пакостники!

И отвёл взволнованного мальчика спать, убеждая его по дороге:

– Ты – не гляди на них, – дураки они!

Долго не мог заснуть Матвей, слушая крики, топот ног и звон посуды. Издали звуки струн казались печальными. В открытое окно заглядывали тени, вливался тихий шелест, потом стал слышен невнятный ропот, как будто ворчали две собаки, большая и маленькая.

– Зря...

– Ми-ильный...

Мальчик тихонько подошёл к окну и осторожно выглянул из-за косяка; на скамье под черёмухой сидела Власьевна, растрёпанная, с голыми плечами, и было видно, как они трясутся. Рядом с нею, согнувшись, глядя в землю, сидел с трубкою в зубах Созонт, оба они были покрыты густой сетью теней, и тени шевелились, точно стараясь как можно туже опутать людей.

– Жена ли она ему-у? – тихонько выла Власьевна.

А дворник угрюмо ворчал:

– Говорю – зря это...

Мелко изорванные облака тихо плыли по небу, между сизыми хлопьями катилась луна, золотя их мохнатые края. Тонкие ветви черёмухи и лип тихо качались, и всё вокруг – сад, дом, небо – молча кружилось в медленном хороводе.

После свадьбы дома стало скучнее: отец словно в масле выкупался – стал мягкий, гладкий; расплывчато улыбаясь в бороду, он ходил – руки за спиной – по горницам, мурлыкая, подобно сытому коту, а на людей смотрел, точно вспоминая – кто это? Матвею казалось, что старик снова собирается захворать, – его лицо из красного становилось багровым, под глазами наметились тяжёлые опухоли, ноги шаркали по полу шумно. Мачеха целыми днями сидела под

окном, глядя в палисадник, и жевала солодовые да мятные жамки, добывая их из-за пазухи нарядного сарафана, или грызла семечки и калёные орехи.

– Хошь орешков? – спрашивала она, когда пасынок подходил к ней.

Он не умел разговаривать с нею, и она не мастерица была беседовать: его вопросы вызывали у неё только улыбки и коротенькие слова:

– Да. Нет. Ничего.

Иногда она сносила в комнату все свои наряды и долго примеряла их, лениво одеваясь в голубое, розовое или алое, а потом снова садилась у окна, и по смуглым щекам незаметно, не изменяя задумчивого выражения доброго лица, катились крупные слёзы. Матвей спал рядом с комнатою отца и часто сквозь сон слышал, что мачеха плачет по ночам. Ему было жалко женщину; однажды он спросил её:

– Что ты всё плачешь?

– Али я плачу? – удивлённо воскликнула она, дотронувшись ладонью до щеки, и, смущённо улыбнувшись, сказала: – И то...

– О чём ты?

– Так! Привычка такая...

Почти всегда, как только Матвей подходил к мачехе, являлся отец, нарядный, в мягких сапогах, в чёрных шароварах и цветной рубашке, красной или синей, опоясанной шёлковым поясом монастырского тканья, с молитвою.

Обмякший, праздничный, он поглаживал бороду и говорил сыну:

– Ну, что, не боишься мачехи-то? Ну, иди, гуляй!

Он перестал выезжать в уезд за пенькой и в губернию с товаром, посылая вместо себя Пушкаря.

– Тятя, – звал его сын, – иди на завод, мужики кличут!

– Савка там?

– Там.

– Позови его сюда.

Приходил Савка, коренастый, курносый, ширококоржий, серовато-жёлтые волосы спускались на лоб и уши его прямыми космами, точно некрашенная пряжа. Белые редкие брови едва заметны на узкой полоске лба, от этого прозрачные и круглые рачьи глаза парня, казалось, забегали вперёд вершка на два от его лица; стоя на пороге двери, он вытягивал шею и, оскалив зубы, с мёртвою, узкой улыбкой смотрел на Палагу, а Матвей, видя его таким, думал, что если отец скажет: «Савка, ешь печку!» – парень осторожно, на цыпочках подойдёт к печке и начнёт грызть изразцы крупными жёлтыми зубами.

Он заикался, дёргал левым плечом и всегда, говоря слово «хозяин», выпускал из широкого рта жадный и горячий звук:

– Ххо!

– Ну, ступай, негожа рожа! – отпускал его отец, брезгливо махнув рукой.

Однажды пришли трое горожан, и один из них, седой и кудрявый Базунов, сказал отцу:

– Вот, Савелий Иванов, решили мы, околоток здешний, оказать тебе честьдоверие – выбрать по надзору за кладкой собора нашего. Хотя ты в обиходе твоём и дикой человек, но как в делах торговых не знатно худого за тобой – за то мы тебя и чествуем...

Облокотясь на стол, отец слушал их, выпятив губу и усмехаясь, а потом сказал:

– Али нет между вами честных-то людей? Какая ж мне в том честь, чтобы жуликами командовать?

– Погоди! Кто тебя на команду зовёт?

– И свиной пасти – нет охоты...

– Что ж ты лаешься?

Отец встал, потрянул головой.

– Идите, откуда пришли! Не уважаю я вас никого и ни почета, ни ласки не хочу от вас... Горожане встали и молча пошли вон, но в дверях Базунов обернулся, говоря:

– Правда про тебя сказано: рожа – красная, душа – чёрная!

Проводив их громким смехом, отец как-то сразу напился, кричал песни и заставлял Палагу плясать, а когда она, заплакав, сказала, что без музыки не умеет, бросил в неё оловянной солоницей да промахнулся и разбил стекло киота.

Но к вечеру он отрезвел, гулял с женой в саду, и Матвей слышал их разговор.

– Ты бабёнка красивая, тебе надо веселее быть! – глухо говорил отец.

– Я, Савель Иваныч, стараюсь ведь...

Матвей сидел под окном, вспоминая брезгливое лицо отца, тяжёлые слова, сказанные им в лицо гостям, и думал:

«За что он их?»

Спустя несколько дней он, выбрав добрый час, спросил старика:

– Тятя, за что ты горожан-то прогнал?

Савелий Кожемякин легонько отодвинул сына в сторону, пристально посмотрел в глаза ему и, вздохнув, объяснил:

– Чужой я промеж них. Поначалу-то я хотел было в дружбе с ними жить, да они на меня сразу, как псы на волка. Речи слышу сладкие, а когти вижу острые. Ну, и – война! Грабили меня, прямо как на большой дороге: туда подай, сюда заплати – терпенья нет! Лошадь свели, борова убили, кур, петухов поворовали – счёту нет! Мало того, что воруют, – озорничать начали: посадил я вишен да яблонь в саду – поломали; малинник развёл – потоптали; ульи поставил – опрокинули. Дважды поджечь хотели; один-от раз и занялось было, да время они плохо выбрали, дурьё, после дождей вскоре, воды в кадках на дворе много было – залили мы огонь. А другой раз я сам устерёг одного сударя, с горшком тепла за амбаром поймал: сидит на корточках и раздувает тихонько огонёк. Как я его горшком-то тресну по башке! Уголья-то, видно, за пазуху ему попали, бежит он пустырём и воеет – у-у-у! Ночь тёмная, и видно мне: искры от него сыплются. Смешно! Сам, бывало, по ночам хозяйство караулил: возьму стяжок потолка и хожу. Жуть такая вокруг; даже звезда божья, и та сквозь дерево блестит – вражьем глазом кажется!

Он добродушно засмеялся, но тотчас же потускнел и продолжал, задумчиво качая головой:

– Заборы высокие понастроил вот, гвоздями уснастил. Собак четыре было – попробовали они тут кое-чье мясо на ляжках! Два овчара были – кинутся на грудь, едва устоишь. Отравили их. Так-то вот! Ну, после этаких делов неохота людей уважать.

Он замолчал, положив руку на плечо сына, и, сдерживая зевоту, подавленно молвил:

– И вспоминать не хочется про эти дела! Скушно...

Матвей невольно оглянулся: слишком часто говорил отец о скуке, и мальчик всё более ясно чувствовал тупой гнёт этой невидимой силы, окружавшей и дом и всё вокруг душным облаком.

Матвей Савельев Кожемякин до старости запомнил жуткий и таинственно приятный трепет сердца, испытанный им в день начала ученья.

Все – отец, мачеха, Пушкарь, Созонт и даже унылая, льстивая Власьевна – собрались в комнате мальчика, а Василий Никитич Коренев, встав перед образом, предложил торжественным голосом:

– Усердно помолимся господу нашему Иисусу Христу и угодникам его Кузьме-Дамиану, а также Андрию Первозванному, да просветят силою благодной своей сердце отрока и приготовят его к восприятию мудрости словесной!

А когда кончили молитву, он ласково, но строго сказал:

– Теперь – изыдите, оставьте нас!

Усадил Матвея у окна на скамью рядом с собою и, обняв его за плечи, нагнулся, заглядывая в лицо славными своими глазами.

– Не бойся, – тихонько сказал он, – не трепещи, не к худому готовишься, а к доброму.

И тем же полушёпотом продолжал, указывая рукою на сад:

– Смотри, в какой светлый и ласковый день начинаем мы!

За окном стояли позолоченные осенью деревья – клён, одетый красными листьями, липы в жёлтых звёздах, качались алые гроздья рябины и толстые бледно-зелёные стебли просвирняка, покрытые увядшим листом, точно кусками разноцветного шёлка. Струился запах созревших анисовых яблок, укропа и взрытой земли. В монастыре, на огородах, был слышен смех и весёлые крики.

– Что есть грамота?

Этот тихий вопрос обнял сердце мальчика напряжённым предчувствием тайны и заставил доверчиво подвинуться к учителю.

– Грамота, – играя волосами ученика, говорил дьячок, – суть средство ознакомления ума с делами прошлого, жизнью настоящего и планами людей на будущее, на завтра. Стало быть, грамота сопрягает человека со человеками, сиречь приобщает его миру. Разберём это подробно.

– Что есть слово? Слово есть тело разума человеческого, как вот сии тела – твоё и моё – есть одежда наших душ, не более того. Теперь: берём любую книгу, она составлена из слов, а составил её некий человек, живший, скажем, за сто лет до сего дня. Что же должны мы видеть в книге, составленной им? Запечатлённый разум человека, который жил задолго до нас и оставил в назидание нам всё богатство души, накопленное им. Стало быть, примем так: в книгах заключены души людей, живших до нашего рождения, а также живущих в наши дни, и книга есть как бы всемирная беседа людей о деяниях своих и запись душ человеческих о жизни. Понял?

Матвей вспомнил толстые церковные книги, в кожаных переплётках с медными застёжками, и тихо ответил:

– Понял.

– А слушать не устал?

– Нет! – живо ответил ученик.

– Верю. Дело, видимо, хорошо пойдёт!

Его лицо озарилось улыбкой, он встал и, к удивлению ученика, объявил:

– На первый раз достаточно сказанного. Ты о нём подумай, а коли чего не поймёшь скажи.

Дьячок не ошибся: его ученик вспыхнул пламенным желанием учиться, и с быстротою, всех удивлявшей, они до зимы прошли букварь, а в зиму и часослов и псалтырь. Раза два в неделю дьячок брал после урока гусли и пел ученику псалмы.

Се что добро или что красно,
Но еже жити братии вкупе!

И не однажды ученик видел на глазах учителя, возведённых вверх, влагу слёз вдохновения.

Чаще всего он пел:

Господи, искусил мя еси и познал мя еси,
Ты познал еси восстание моё...
И когда он доходил до слов:
Яко несть льсти в языке моем...

голос его звучал особенно сильно и трогательно.

Пил он, конечно, пил запоем, по неделям и более. Его запирали дома, но он убегал и ходил по улицам города, тонкий, серый, с потемневшим лицом и налитыми кровью глазами. Размахивая правой рукою, в левой он сжимал цепкими пальцами булыжник или кирпич и, завидя обывателя, кричал:

– Зверие поганое – камением поражу вас и уничтожу, яко тлю!

Горожане бегали от него, некоторые ругались, жаловались благочинному, иные зазывали его в дома, поили там ещё больше и заставляли играть и плясать, словно черти пустынного Исаакия. Иногда били его.

Матвей любил дьячка и даже в дни запоя не чувствовал страха перед ним, а только скорбную жалость.

Самым интересным человеком, после дьячка, встал перед Матвеем Пушкарь.

Вскоре после начала учения, увидав мальчика на крыше землянки с букварём в руках, он схватил его за ногу и потребовал:

– Ну-ка, покажь, какие они теперь, буквари-то! Иомуд? – читал он, двигая щетинистыми скулами. – Остяк? Скажи на милость, какой народ пошёл! – Покачав сомнительно головою, он вздохнул и сказал негромко: – Д-да, прирастает народу на Руси, это хорошо – работники нам надобны! Устамши мы, – много наработали, теперь нам отдыхать пора, пушай другие потрудятся для нас... Государство огромное, гор в нём, оврагов, пустырей – конца-краю нет! Вот гляди бурьян растёт: к чему он? Надо, чтобы съедобное росло на земле – горох, примерно, коноплю посеи. Работники чрезвычайно надобны: всё требует рук. Гору – выровнять, овраг – засыпать, болото – высушить, всю землю – вспахать, засеять, чтобы всем пищи хватало, во-от! Россия нуждается в рабочих.

Прищурил маленькие глазки, хозяйственно осмотрелся и, похлопав мальчика по колену, продолжал:

– Вот что, мотыль, коли соберутся они тебя драть – сигай ко мне! Я тебя спрячу. Тонок ты очень, и порки тебе не стерпеть. Порка, – это ты меня спроси, какая она!

Мальчик быстро схватывал всё, что задевало его внимание. Солдат уже часто предлагал ему определить на ощупь природную крепость волокна пеньки и сказать, какой крутости свивания оно требует. Матвеем льстило доверие старика; нахмурясь, он важно пробовал пальцами материал и говорил количество оборотов колеса, необходимое для того или этого товара.

Пушкарь, размахивая руками, радостно кричал:

– Вер-рно!

И начинал свои бесконечные речи:

– Вот отец твой тоже, бывало, возьмёт мочку в руку, глаз прищурит, взвесит – готово! Это – человек, дела своего достойный, отец-то!

– За что его люди не любят? – спросил Матвей как-то раз.

– Его? – удивлённо вскричал солдат. – А за что его людям любить? Вона! Какой он герой?

Пушкарь захохотал и потом, подумав, прибавил:

– Да они, беси, никого не любят!

– Почему?

– А кто знает! Спроси их – они и сами не знают, поди-ка!

– По писанию, надо любить друг друга, – обиженно сказал Матвей.

Пушкарь взглянул на него и, стирая грязной рукою улыбку с лица, неохотно сказал:

– Мало ли чего написано!

– А ты его любишь? – допрашивал Матвей.

– Эк тебя! – сказал солдат, усмехаясь. – И верно, что всякая сосна своему бору шумит. Я Савелья уважаю, ничего! Он людей зря не обижает, этого нет за ним. Работу ценит.

– А как он тебя тогда горшком-то?

– Цветком? Ничего, ловко! Он во всём ловок. Пьяный я тогда был, а когда я пьян, мне проповедь читать припадает охота. Всех бы я учил – просто беда! Даже ротному однажды подсунул словцо: бог, мол, не велел в морду бить! Вспороли кожу-то...

Он подумал, искоса поглядел на Матвея, закашлялся и сказал, вдруг оживляясь:

– Вот я тебе примерную историю расскажу, а ты – смекай! Распорядилось начальство, чтобы мужикам картошку садить, а мужики, по глупости, – не желаем, говорят, картошки! И бунтуются: пришлют им картошку, а они – это от антихриста! Да в овраг её, в реку али в болото, так всю и погубят, не отведав. Случилось так и в Гуслицах, где фальшивые деньги делают, и вот послали туда нашей роты солдат на усмирение. Хорошо! Командир у нас немец был, Устав звали мы его, а по-настоящему он – Густав. Здоровенный поручик, строгости непомерной. Сейчас это он – пороть мужиков! Устроились на площади перед церковью и десятого порют, шиппутьями – это такие пруты для порки придуманы были. Правду сказать простые прутья, ну, а для пущего страха по-немецки назывались. Порем. Урчат мужики, а картошку не признают. Велел Устав наварить её целый котёл и каждому поротому советует ешь! Мужик башкой качает – не буду, дескать, а немец ка-ак даст ему этой картошкой-то горячей в рыло – так вместе с передними зубами и вгонит её в рот! Плюют мужики, а держатся. Я хошь и солдат, ну, стало мне жалко глупых этих людей: бабы, знаешь, плачут, ребятишки орут, рожи эти в крови – нехорошо, стыдно как-то! Хошь и мужики, а тоже – русские, крещёный народ. Вот вечером, после секуции – секуция это тоже по-немецки, а по-нашему просто порка, – вечером, набрал я варёной картошки и – к мужикам, в избу в одну. «Ах, вы, говорю, беси! Вот она, картошка, глядите! Совсем как мука, али вроде толочна. Вот – я солдат, крест на теле, стало быть, крещёный». Показал им крест, а он у меня настоящий был, поморского литья, с финифтей. И давай перед ними картошку эту жевать. Съел штуки три, видят они – не разорвало меня; бабёночка одна, молоденькая, руку протянула – дай, дескать! Взяла, перекрестясь, даёт мужику, видно, мужу: «Ешь, говорит, Миша, а грех – на меня!» На коленки даже встала перед ним, воет: «Поешь, Миша, не стерплю я, как начнут тебя пороть!» Ну, Миша этот поглядел на стариков, – те отвернулись, – проглотил. За Мишей – Гриша да Епиша – и пошло дело! Всё съели! Я, конечно, рад, что прекратил бунтовство, кричу: «Что, мол, так вашу раз-эдак? Ещё, что ли, принести?» – «Тащи, говорят, служивый, не все отведали». Сейчас я до капрала – Хайбула капрал был из Касимова, татарин крещёный – приятель мне. И драли нас всегда вместе. Так и так, мол! «Ловок ты, Пушкарёв, говорит, – доложу, говорит, я про тебя: будет награда, не иначе». Набрали мы с ним этой окаянной картошки и опять к мужикам. А они, беси, уж и вина припасли. Ну, насосались мы! И вдруг – Устав! Как с полатей свалился. «Как, кричит, меня не слушать, а солдат слушать?» По-русски он смешно ругался. Наутро нас драсть: меня с Хайбулой. Всыпали очень памятно...

Язык старика неутомимо раскапывал пропитанный кровью мусор прошлого, а Матвей слушал и боялся спокойствия, с которым старик говорил.

Кончив, солдат потыкал пальцем в пятно смолы на колене штанов, поглядел искоса на мальчика и пояснил:

– Ежели с людьми действовать ласково – их можно одолеть, при всей их глупости. А отец твой – он тоже вроде картошки: явилось вдруг неизвестно что, и никому никакого уважения! У Сазана рожа разбойная, око тяжёлое, говорить он немощен, только рычит. Откуда люди, кто такие? Ни село, ни пало, а – ударило! Здешние мещане сами вор на воре. Тут лет двадцать назад такие грабежи были – ни проходу, ни проезду! На Шихане воровали, а на нас, слободских, доносили, мы-де воры-то! А ведь есть вор по охоте, есть и по нужде...

Странные рассказы Пушкаря наполняли душу мальчика тёмным хаосом. Он чувствовал себя подавленным бременем страшных сказок о порках, зуботычинах, о том, как людей забивали насмерть палками, как продавали их, точно скот. В ярких речах отца жизнь рисовалась

подобной игре и сказке, в словах солдата она смотрела сурово, требовала терпения и покорности, – мальчик не мог примирить это явное противоречие. Он не ощущал ни жалости, ни сострадания к массе битых людей, но им овладевало утомляющее недоумение, оно превращалось в сонливость; мальчик забивался куда-нибудь в укромный уголок и там, безуспешно стараясь разобраться в своих впечатлениях, обыкновенно засыпал кошмарным сном. Однажды, за уроком, дьячок сказал ему:

– Видишь, как бойко и мелко научился ты писать? Хорошо! А ещё лучше было бы, буде ты, сшив себе тетрадь, усвоил привычку записывать всё, что найдёшь достойным сохранения в памяти. Сделай-ко это, и первое – приучишься к изложению мысли, а второе – украсишь одиночество твоё развлечением небесполезным. Человеческое – всегда любопытно, поучительно и должно быть сохраняемо для потомства.

Мальчик горячо схватился за эту мысль, попросил отца купить дещь толстой бумаги, а дьячка – собственною его рукою написать на первом листе песню о Венус.

– Не годится! – сказал Коренев, глядя плечо ученика. – Это надо поставить серьёзно, надо так смотреть: всякое дело есть забава, и всякая забава дело есть. Сначала дадим записям будущим достойный титул.

Подумал и сказал:

– Пиши!

На первой странице Матвей тщательно вывел гусиным пером:

«Запись рассказов, песен и разных случаев из жизни города Окурова, Воргородской губернии, которые я, Матвей Кожемякин, слышал и видел с тринадцатилетнего возраста».

– Теперь пиши: «Во имя отца и сына и святого духа». А исписав всю тетрадь, подпишешь: «Аминь!»

Он взял ученика пальцами за подбородок, приподнял его лицо и, глядя в глаза любовным и строгим взглядом матери, молвил:

– Аминь, сиречь – истина! Понимаешь? Теперь давай запишем несколько сентенций, направляющих ум.

Львиное лицо дьячка задумчиво нахмурилось, глаза ушли под лоб, он поднял палец, как бы грозя кому-то.

– Пиши здесь, с краешка, мелко:

«Не осуждаю, а – свидетельствую».

– Хорошо. Теперь – отступя книзу:

«Жизнь человека – скоропреходяща, деяния же его века жить достойны иногда».

– Теперь – с правой стороны, покрасивее постарайся:

«И птичка скромная гласит своею песней,
Что правда вымыслов живее и чудесней».

Окинув довольным взглядом написанное, он одобрил:

– Видишь, как красиво рассеялись семена разума на чистом этом поле? Ты, начиная записывать, всегда предварительно прочитай эту заглавную страницу. Ну, давай я начертаю тебе на память петые мною свадебные стихиры!

И крупным полууставом, с затейными хвостиками и росчерками, он записал песнь.

Вскоре после этого он исчез из города: по жалобе обывателей его послали в дальний монастырь на послушание за беспутную и пьянственную жизнь. Матвей плакал, узнав об этом; старик Кожемякин, презрительно оттопыривая губу, ворчал и ругался:

– Ну, конечно, – сослать его! Беспутен, вишь! Ваши-то пути каковы? Жабьи души! Марков в губернию перебрался с тоски здешней, теперь и этого нет. Деймоны! Тоже и Василий, пьёт называется! Мы в его годы ковшом вино пили, а никаких запоев не приключалось что-то!

Матвей усердно принялся за тетрадку, но её первая страница положила почти неодолимую преграду умной затее дьячка: ученик, при виде фигурно написанного титула, долго не мог решиться начать свои записи, боясь испортить красоту тетради. Как-то раз, после долгих приготовлений, он, волнуясь, начал на обороте страницы, где были записаны сентенции:

«Сегодня тятя сказывал, как бурлаки в Балахне бои ведут...»

Пальцы дрожали, перо прыгало, и вдруг со лба упала на бумагу капля пота. Писатель горестно ахнул: чернила расплывались, от букв пошли во все стороны лапки. А перевернув страницу, он увидел, что фуксин прошёл сквозь бумагу и слова «деяния же его» окружились синим пятном цвета тех опухолей, которые появлялись после праздников под глазами рабочих. Огорчённый, он решил не трогать эту тетрадку, спрятал её и сшил другую.

Он уже записал все прибаутки Макарьевны, какие остались в памяти, о сыне Максиме в четыре аршина, про Ерёму и Федосью, а особенно нравилось ему краткое сказание о вороне:

Летела ворона,
Села на ворота;
Стук носом в верёе:
– Мне хозяйку самоё!

Ворона жила в этих словах солидная, важная и дерзкая, с её серым брюшком и гладкой, словно маслом намазанной, головою.

Он несколько раз пробовал записывать рассказы отца, но у него не хватало слов для них, писать их было скучно, и на бумаге они являлись длинными, серыми, точно пеньковые верёвки.

В пятнадцать лет он казался старше: коренастый, полный, с тёмными выющимися волосами над белым лбом и недоверчивым взглядом карих глаз. Молчаливый, сдержанный, он говорил тихо, вдумчиво, смотрел на всё зорко, а между бровей, над переносьем, у него уже намечалась печальная тонкая складка. Одиночество развивало его воображение; безделье и жирная, обильная пища награждали его тяжёлыми снами, головной болью и будили чувственность. Каждый раз, когда ему случалось видеть жёлто-розовые плечи мачехи или её ноги, стройные и крепкие, его охватывал сладкий и стыдный трепет, и он поспешно отходил прочь от неё, всегда покорной, всем ласково улыбавшейся, молчаливой и незаметной.

Она жила, точно кошка: зимою любила сидеть в тёплых темноватых уголках, летом пряталась в тени сада. Шила, вязала, мурлыча неясные, однообразные песни, и, начиная с мужа, всех звала по имени и отчеству, а Власьевну – тётенькой.

На Матвея она смотрела словно сквозь ресницы, он избегал оставаться с нею один, смущаясь, не находя, о чём говорить.

С некоторого времени его внимание стал тревожно задевать Савка: встречая Палагу на дворе или в кухне, этот белобрысый парень вдруг останавливался, точно вращался в землю и, не двигая ни рукой, ни ногой, всем телом наклонялся к ней, точно готовясь упасть, как подрубленное дерево, а поперёк его лица медленно растекалась до ушей узкая, как разрез ножом, улыбка, чуть-чуть открывая жадный оскал зубов.

– Ххо-зьяка!

– Здравствуй! – бледнея, отвечала Палага.

Однажды Матвей, сортируя пеньку, слышал, как Савка говорил кому-то:

– Теперь воля. Теперь я сам себе хозяин. Деньги надо, говоришь? Ну, так что? Достанем! Теперь – воля!

Он становился развязней, меньше заикался, а мёртвые его глаза как будто ещё выросли, расширились и жаднее выкатывались из-под узкого лба.

Летом, в жаркий день, Пушкарь рассказал Матвею о том, как горела венгерская деревня, метались по улице охваченные ужасом люди, овцы, мычали коровы в хлевах, задыхаясь ядовитым дымом горящей соломы, скакали лошади, вырвавшись из стойл, выли собаки и кудахтали куры, а на русских солдат, лежавших в кустах за деревней, бежал во тьме пылающий огнём человек.

– Помочь-то не могли вы? – спросил Матвей.

– Им, венгерцам-то? – удивлённо воскликнул солдат. – Чудак, чай – война! Мы же и подожгли их, а ты – помочь! Мы в него стреляли, в этого, который горел...

– Зачем? Он и так бы умер.

– Испугались мы! – посмеиваясь, сказал солдат. – Мчится прямо на нас и кричит истошным голосом! Темно, ночь. Это верно, что не надо было стрелять, нам наказано было просто поджечь деревню и глядеть, есть ли тут где войско венгерское или нет? А сами мы ни слуху ни духу не должны были неприятелю давать. Поджигал я да татарин один казанский, – в тот раз его и зарубили. Так было: запалили мы с ним деревню, отползли на место, а этот, горящий-то, как бы за нами вослед. А на выстрелы наши конница ихняя откуда ни возьмись, нарядные такие конники у них, – и давай они нас крошить, братец ты мой! Казанскому этому голову даже до глаз развалили, меня – саблю по плечу, да лошадь копытом в живот дала. Досталось памятно! Было нас человек с двадцать, а уцелело шестеро, кажись, и то все порублены. Всех бы насмерть порубили, да подвалила помощь из леса. Ибрагим татарина звали, хорош был парень! Татаре – первый народ, самый честный! Я тебе прямо скажу: во зверях собаки, а в людях татаре – это самое лучшее! Бывало, говорит мне – Сяпан! – не мог, татарская лопатка, сказать Степан, а всё – Сяпан, как чапан выходило у него, – смешной был!

Он ещё долго говорил, подставив солнечным лучам серую голову, коричневую шею, и дёргал костлявыми плечами, точно стряхивая с тела душный зной.

Но Матвей уже не мог слушать, его вместилище впечатлений было не ёмко и быстро переполнялось. На солнечном припёке лениво и молча двигались задом наперёд синие канатчики, дрожали серые шнуры, жалобно скрипело колесо и качался, вращая его, квадратный мужик Иван. Сонно вздрагивали обожжённые солнцем метёлки лошадиного щавеля, над холмами струилось марево, а на одной плешиевой вершине стоял, точно в воздухе, пастух.

В монастырском саду тихо пели два женские голоса. Один тоненький, как шелковинка, заунывно развивался:

Отверзи-и...

А другой, гуще и сильнее, вторил:

Отверзи-и ми...

Потом певицы звонко засмеялись.

Матвей встал и пошёл в амбар. Хотелось облиться с ног до головы ледяной водой или сунуть голову куда-нибудь в тёмное, холодное место и ничего не видеть, не слышать, не думать ни о чём.

Он забрался в мягкое облако пеньки, лёг и стал мысленно продолжать пение клирошанок, вспоминая медные, кованые слова:

Студными бо окалях душу мою грехми...

Вдруг откуда-то донёсся тихий и горячий шёпот:

– Куда-а? Ну, куда-а мы, родимый, пойдём?

Это говорила Палага, а чей-то другой голос бесцветно ответил:

– Мала ли земля...

«Савка!» – подумал Матвей, чувствуя, как что-то острое укололо его в сердце. Он осторожно приподнял голову: в сумраке, недалеко от него, стояли плотно друг к другу Палага и дворник Созонт. Он положил ей руки ни плечи, а она, наклонив голову вбок, быстро перебирала пальцами кромку фартука и смотрела куда-то мимо мужика. Матвею казалось, что теперь

глаза у неё зелёные, точно у кошки. Очарованный ими, вспоминая свои сны и откровенные суждения Пушкаря о женщинах, он вытянул шею, в сладком и трепетном волнении слушая и следя.

Созонт медленно водил руками по телу женщины, она уклонялась, повёртываясь к нему боком и отводя его руки бережными движениями своих.

– Не тронь, – слышал Матвей её шёпот...

Тяжелое дыхание Созонта, вздохи Палаги свивались в одну прядь звуков со скрипом колеса за стеною и ворчливую скороговоркою Пушкаря:

– Два на десять, три на десять! Эй, бес линючий! Савка...

Матвей усмехнулся, вспомнив о широкооротом парне, и подумал злорадно, с тоской и обидой:

«Прозевал, дурак...»

Мужик толкал мачеху плечом, оттирая её в тёмный угол огромного амбара, – Матвею стало не видно их, он просунулся вперёд и съехал с пеньки, шумно стукнув пятками о половицы.

Согнувшись, почти на четвереньках, Созонт бросился в дверь на двор, а женщина, тихонько, как собака во сне, взвизгнула и, стоя на коленях, огромными глазами уставилась в лицо пасынка.

Страх, стыд и жалость к ней охватили его жаром и холодом; опустив голову, он тихонько пошёл к двери, но вдруг две тёплых руки оторвали его от земли, он прижался щекою к горячему телу, и в ухо ему полился умоляющий, виноватый шёпот:

– Миленький, не ходи! Христом богом прошу – не говори! Мотенька, сиротинушка, матушки твоей ради! – не жалуйся...

На лицо ему капали слёзы, всё крепче прижимали его сильные руки женщины и, охваченный сладостным томлением, он сам невольно прижимался к ней.

А она шептала, торопливо и жарко:

– Ведь ты не маленький, видишь ведь: старый тятя твой, хиреет он, а я – молодая, мне ласки-то хочется! Родненький, что будет, если скажешь? Мне – побои, ему – горе, да и этому, – ведь и его жалко! А уж я тебя обрадую: вот слободские придут огород полоть, погоди-ка...

Ему казалось, что он кружится в сухом и горячем вихре и стремглав летит куда-то вместе с нею. Он стал вырываться из её объятий, тогда женщина мягко и покорно развела руки и, застёгивая дрожащими пальцами ворот сорочки, тупо проговорила:

– Ну, бог с тобой, – иди, – прости тебе Христос...

– Я не скажу, – тихо молвил Матвей и, чувствуя, что она не поняла или не верит ему, повторил: – Слышишь – не скажу!

Палага странно согнулась, стала маленькой, до смешного, и, тревожно заглянув в лицо ему, спросила шёпотом:

– Ей-богу?

– Ей-богу! – сказал он, подняв глаза к потолку амбара, перекрестился и взял её за руки. – Только ты не уходи, пожалуйста...

– Мотя, – ах, господи!

Снова обняв его, она поцеловала лоб и щёки пасынка, радостно блестя глазами, полными слёз, и повела куда-то, говоря низким, точно чужим голосом:

– Сиротина мой – спасибо тебе!

Потом они сидели близко друг ко другу в саду, под вишнями, над ними чирикали воробьи, расклёвывая ягоды; был конец июня, липа цвела, цветень её золотил листья, медовый запах сладко кружил голову юноши.

Палага, поводя в воздухе белой, холёной рукой, задушевно говорила:

– Гляжу я на тебя – ходишь ты тихонький и словно бы не здешний, думаю – уйдёт он за матерью своей, сирота, лишит кого-то счастья-радости любовной! Сбились мы все тут, как зайцы в половодье, на острове маленьком, и отец твой, и я, и этот человек, и всем нам каждому сиротство своё – как слепота!

Её румяное лицо казалось Матвею удивительно красивым, речь – умною, как речи дьячка Коренева. Всё ещё чувствуя волнение и стыдный трепет в теле, он доверчиво смотрел в глаза ей, и ему хотелось положить голову на круглое, немного загоревшее её плечо.

Вдруг откуда-то явилась рыжая борода отца, юноша вскочил на ноги, как будто его прутком хлестнуло, а женщина поднялась тяжело, точно старуха.

– Я проснулся, кричу – Палага, квасу... – ворчал старик, позёвывая и крестя рот. – О чём беседу вели?

На нём была надета татарская рубаха, из-под неё торчали голые икры, обмотанные синим узором вздутых вен. Багровое лицо горело среди зелени огромным, чудным цветком, окружённое, как сиянием, рыжими волосами.

Матвей перевёл глаза на мачеху – стройная, румяная, с маленьким, точно у ребёнка, ртом, она стояла, покорно сложив руки на груди, бледная.

– Я кого спрашиваю? – рявкнул старик.

Сын негромко ответил, глядя под ноги себе:

– Она мне рассказывала...

– Как в Балымерах мужики жили, за барами, – вздохнув, договорила Палага.

– Расскажет она! – проворчал Кожемякин, косо посмотрев на жену, и сурово отослал её готовить чай.

Матвей видел его тяжёлый, подозрительный взгляд и напряжённо искал, что сказать старику, а тот сел на скамью, широко расставив голые ноги, распустил сердито надутые губы в улыбку и спросил:

– Ну, что скажешь?

– За баней на берёзе ремез гнездо свил, – вдруг выдумал Матвей и испуганно оглянулся, сообразив: «Сейчас велит – покажи!»

– Это ты врешь, брат! – сказал отец и завыл, зевая.

Сад вздрогнул, точно расправив зелёные крылья, – поплыл вверх.

– Кабы ремез, – поучительно гудел отец, – он бы гнездо строил на дереве с большим да крепким листом. Ремез – шьёт гнездо, – это надо знать!

Матвей облегчённо вздохнул, и ему стало жалко отца, стыдно перед ним. Старик оглянул сад и, почёсывая бороду, благодарно поднял глаза к небу.

– Добёр господь к земле своей – эко украсил её щедро как!

Смерил сына глазом и, вздохнув, продолжал:

– Велик ты становишься однако! Вот он – тайный ребячий рост: дерево летом не заметишь, сколько выросло, а весной, глядь – распустит наряды свои...

Скоро Палага крикнула пить чай. За столом старик начал хвалить Пушкаря.

– Хорош солдат – железо, прямо сказать! Работе – друг, а не то, что как все у нас: пришёл, алтын сорвал, будто сук сломал, дерево сохнет, а он и не охнет! Говорил он про тебя наемни, что ты к делу хорошо будто пригляделся. Я ему верю. Ему во всём верить можно: язык свихнёт, а не соврёт!

Матвей поперхнулся крошками сдобной лепёшки, а Палага шумно вздохнула.

– Говорил он мне, – продолжал Кожемякин, – хочу, говорит, для племяшей избёнку поправить, дай-ко ты мне вперёд рублив сорок. Изволь, получи! И сто – дам. Потому, говорю, крупа драная, что хороший работник – делу второй хозяин, половина удачи...

Юноша, искоса поглядывая на Палагу, удивлялся: её розовое кукольное лицо было, как всегда, покорно спокойно, глаза красиво прикрыты ласковыми тенями ресниц; она жевала

лепёшку не торопясь и не открывая рта, и красные губы её жили, как лепестки цветка под тихим ветром.

Добродушно ворчала вода в самоваре, тонко свистел пар, вырываясь из-под крышки, в саду распевала малиновка; оттуда вливались вечерние, тёплые запахи липы, мяты и смородины, в горнице пахло крепким чаем, душистым, как ладан, берёзовым углём и сладким тестом. Было мирно, и душа мальчика, заласканная песнью, красками и запахами догоравшего дня, приветно и виновно раскрывалась встрече словам отца.

«А кабы сказал я ему про Палагу, – смутно подумал он, – плакала бы она, избитая, а он зверем рычал бы на всех...»

– Теперь, вот, – ухмыляясь, насмешливо говорил Савелий, – мещанство фордыбачить начало: я-ста да мы-ста, два-ста да три-ста, горожане-де мы, хозяева! Это – глупость, Мотя! Все мы – работники для матушки России, это Пушкарь понимает. Он мне сколько раз кричал: «Ты, говорит, рыжий, думаешь я на тебя работаю? На-ко», – и показывает кукиш мне. «Я, говорит, на царя работаю, на Россию-мать!» Да. А мещанишки боятся, что мужик их забьёт. Как государь-батюшка крестьянство из крепости изнял, да как теперь встряхнётся он, мужичок, оно, пожалуй, и верно, что туго придётся горожанам-то! Свободного народа прибавилось, слава те, господи! Горожане – они сами бы не прочь людей в крепость покупать, ан и не вышло дело! Теперь сказано всем: нуте-ка, попробуйте на воле жить!

Кожемякин крепко ударил по столу рукою и крикнул, поблескивая глазами:

– Хорошее время, сынишка, выпало тебе, чтобы жить! А я вот – четыре с лишком десятка лет в крепостях прожил!

Он хищно прищурился, оглядывая горницу.

– Велика Россия, Матвей, хороша, просторна! Я вот до Чёрного моря доходил, на новые места глядеть шарахались мы с Сазаном, – велика матушка Русь! Теперь, вольная, как начнёт она по-новому-то жить, как пойдёт по всем путям – ой-гой...

Палага пугливо повела плечами, посмотрела в окно и негромко проговорила:

– А мои родители не дождалась светлого денька.

Навалившись грудью на стол, старик усмехнулся.

– Знаешь ты, – спросил он Матвея, – что её отца от семьи продали? Продали мужа, а жену с дочерью оставили себе. Хороший мужик был, слышь, родитель-то у ней, – за строптивость его на Урал угнали железо добывать. Напоследях, перед самой волей, сильно बारे обозлились, множество народа извели!

– А всего больше девок да баб, – тихонько вставила Палага, стирая пальцами слёзы со щеки.

– В тяжёлые дни бабы да вино всегда в большом расходе! – размеренно толковал отец. Ты однако, Матвей, огулом судить не приучайся: озорничали बारे – верно, и зверья было много промеж них – тоже верно, ну, были и хорошие люди, а коли барин-дворянин да хорош, так уж он – превосходен! Недавние дворяне, вроде Бубновых здешних, они непрочно себя на земле чуяли и старались, сколько можно больше, сорвать да наgrabить. А были – которые хозяевами считали себя исконными, века вековать на земле надеялись, добро делать старались, только – не к месту: на болоте сеять – зря руками махать! Мужики тоже бар портили, как червивые маслята, примерно, могут спортить и крепкий белый гриб, положи-ко их вместе! Помнишь – работал у нас Лексей, мужик белобрысый такой? Рассказал он мне одна, как прославился перед барином верностью своей рабьей: старого Бубнова наложница стала Лексея на грех с ней склонять, девица молодая была она, скучно ей со стариком...

Кровь бросилась в лицо юноши; незаметно взглянув на мачеху, он увидел, что губы её плотно сжаты, а в глазах светится что-то незнакомое, острое. А Савелий Кожемякин добродушно говорил:

– Лексей этот сейчас барину донёс. Позвал барин её, позвал и его и приказывает: «Всыпь ей, Алёха, верный раб!» Лексей и сёк её до омморока вплоть. Спрашиваю я его: «Что ж, не нравилась она тебе?» – «Нет, говорит, нравилась, хорошая девка была, скромная, я всё думал – вот бы за меня такую барину отдать!» – «Чего ж ты, говорю, донёс-то на неё?» – «Да ведь как же, говорит, коли баринова она!»

Старик откинулся от стола и захохотал.

– Обрыдл он мне с той поры, стал я к нему привязываться совсем зря. Понимаю, что зря, а не могу удержаться, взглянешь на него и так, ни за что ни про что облаещь. А он только глазами мигает да кланяется – терпенья нет! Эдакие люди – беда вредны; они какую хошь узду ослабят зверю твоему, полный простор дают всем деймонам в душе человеческой. Он будто кроткий, а тебе хочется по морде ему треснуть. Прогнал я его: иди-ка, говорю, Лексей, с богом, не ко двору ты мне, сердце портишь! Такого мужика у нас сколько хошь понаделано, и долго он не вымрет, ой, долго! Он себе барина найдёт, в нём воли нет. Воля – это внутри! А он, кроткий-то, он за свой страх боится жить, ему надобно, чтобы кто-нибудь отвечал за него богу и царю, сам он на себя ничего, окромя побоев, не хочет брать. Он так себя ставит, чтобы можно было на страшном суде сказать: это я не сам делал, заставляли меня насильно другие люди, разные. Это, брат, плохой народ, его – сторонись!

И так, почти до ужина, поблескивая зоркими, насмешливыми глазами, старый Кожемякин поучал сына рассказами о прошлых днях. Тёплая тень обнимала душу юноши, складные рассказы о сумрачном прошлом были интереснее настоящего и, тихонько, незаметно отводя в сторону от событий дни, успокаивали душу музыкою мерной речи, звоном ёмких слов.

Ужинали в кухне, вместе со всеми рабочими, и пища была обильна: сначала подавали окрошку из мяса, яиц, огурцов и луку с квасом, забелённую сметаной; два горячих – лапшу да щи с мясом или похлёбку с бараниной и борщ; потом ели гречушную или просяную кашу, жирно политую коровьим маслом, а заедали всё это иногда простоквашей, иногда сычёными киселями. По праздникам, сверх всего, пекли пироги с капустой, морковью, с луком и яйцами, с кашей и рыбьими жирами, а в постные дни ели окрошку из сушёного судака и сазана, толокно, грибные похлёбки, горох, пареную брюкву, свёклу и репу с патокой.

Отец говорил:

– Кто ест много да скоро – тот и работает споро!

Все ели из одной деревянной чаши, широкой и уёмистой, сидя за столом чинно, молча; только Пушкарь неугомонно трещал, как старый скворец.

Первая ложка – хозяину, а за ним тянулись руки остальных, по очереди старшинства; сначала хлебали горячее без мяса, потом хозяин, ударяя ложкой о край чашки, командовал:

– Таскай со всем!

И если кто-нибудь зачерпывал два куса мяса вместо одного, старый Кожемякин, не взирая на возраст захватчика, звучно щёлкал его донцем ложки по лбу. Тёмный лоб Пушкаря, густо расписанный морщинами, страдал чаще других.

Неустанно двигались скулы и челюсти, играли кадыки, сверкали волчьи зубы, от мохнатых грудей шёл парок, на лицах блестели капли пота. Чавкали громко, смачно, глубоко вздыхали от усталости и, облизывая ложки, далеко высовывали большие языки, толстые и красные. Вставая из-за стола, истово крестились в тёмный угол, где приветно мигал жёлтый огонёк лампы, освещая грустные глаза богоматери, высокий лоб Николы, украшенный затейными морщинами, и внимательный лик Христа. Помолясь, кланялись хозяину, говоря подавленными голосами:

– За хлеб, за соль покорно благодарим!

А Савка, выкатывая на хозяйку рачьи глаза, всегда бормотал:

– Балдарю!

– Благо-дарю! – орал на него Пушкарь. – Облом! Дарю благо! Понял? Парень, с видимым усилием отрывая глаза от фарфорового лица Палаги, не торопясь повторял:

– Бландарю, стал-быть...

Матвей однажды слышал, как этот парень, идя по двору, ворчал:

– Бландарю... Черти!

Показалось, что он скрипел зубами.

Юноше нравились чинные обрядные обеды и ужины, ему было приятно видеть, как люди пьянеют от сытости, их невесёлые рожи становятся добродушными, и в глазах, покрытых масляной влагой, играет довольная улыбка. Он видел, что люди в этот час благодарят от полноты чувств, и ему хотелось, чтобы мужики всегда улыбались добрыми глазами.

В этот вечер отец, оглянув стол, спросил, нахмурясь:

– А Сазан где?

Савка завозился, открыл рот и радостно пустил:

– Г-гы-ы!

– Это что? – крикнул хозяин.

Деревянная ложка в руке Палаги дрожала, лицо её покрылось красными пятнами. Все за столом не глядели друг на друга. Матвей ясно видел, что все знают какую-то тайну. Ему хотелось ободрить мачеху, он дважды погладил её колена, а она доверчиво прижалась к нему.

Савка беспокойно вертел головой и тихонько рычал, собираясь сказать что-то.

– Чего вертишься? – строго спросил отец.

– Он ушёл, г-гы-ы! – радостно объявил Савка. – Скажи, говорит, хозяину, что я ушёл совсем. Я за водой на речку еду, а он идёт, с котомкой, гы!

– Пошёл Максим, и котомка с ним! – заговорил Пушкарь. – Опять в бега, значит.

– Да-а! – сказал отец, подумав и не глядя ни на кого. – И не простился...

– Приспичило, – пояснил солдат. – Любят это у нас – бродяжить...

Кожемякин положил ложку и сказал:

– Это такие люди – неугомонные, много я их встречал. Говорят, будто щуров сон видели они: есть такая пичужка, щур зовётся. Она снами живёт, и песня у неё как бы сквозь дрему: тихая да сладкая, хоть сам-то щур – большой, не меньше дрозда. А гнездо он себе вьёт при дорогах, на перекрёстках. Сны его неведомы никому, но некоторые люди видят их. И когда увидит человек такой сои – шабаш! Начнёт по всей земле ходить – наяву искать место, которое приснилось. Найдёт если, то – помрёт на нём...

Все стали жевать медленнее, чавкать тише, лица как будто потемнели.

– Третий раз пошёл Сазан, – задумчиво продолжал старик. – Чуется мне – не увидим мы друг друга, – воротится он, а меня уж нет!

Сумрак в кухне стал гуще, а огонь лампы ярче и глаза скорбящей богоматери яснее видны.

Лёжа в постели, Матвей вспоминал некрасивое рябое лицо дворника, рассеянный взгляд бесцветных глаз и нудные, скупые речи.

«Идти бы, – а то – что? Нашли толк. Из пустого в порожнее. До предельных морей дойти бы...»

Юноша представлял себе, как по пыльной, мягкой дороге, устланной чёрными тенями берёз, бесшумно шагает одинокий человек, а на него, задумавшись, смотрят звёзды, лес и глупокая, пустая даль – в ней где-то далеко скрыт заманчивый сон.

Вскоре отец отправился скупать пеньку, а на другой день после его отъезда, рано утром, Матвея разбудила песня в саду под его окном.

На заре-то, матушка,
Птички голосно поют,
А меня-то, матушка,
Думки за сердце берут...

Старушечий голос перебил песню:

– Тише, девки, тут хозяйский сын спит!

– А пора ему вставать!

– Давай, девушки, глянем, как молоденький купчик спит!

По стене зашуршало – Матвей поднял голову, и взгляд его встретился с бойким блеском чьих-то весёлых глаз; он вспомнил обещание мачехи, весь вспыхнул томным жаром и, с головой закрывшись одеялом, подумал со страхом:

«Пришли огородницы...»

За окном, поддразнивая, смеялись:

– Не спи-ит, девушки!

Он вскочил и бросился в кухню умываться, думая о том, что сегодня надо надеть праздничный наряд; набил себе в рот мыльной пены и окончательно растерялся, услышав насмешливое ворчание Власьевны:

– Ишь, как рано вскочил, когда девицами-то запахло! Молока-то дать?

Напоминание о молоке обидело его, он точно на сказочный подвиг собирался, а тут молока хотят дать, как телёнку! Не отвечая, полуодетый, побежал он будить мачеху, шумно вошёл в её комнату, отдернул полог кровати и зажмурился.

– Вставай, – сказал он тихонько.

Непромытые глаза щипало, их туманили слёзы. Солнце было уже высоко, золотистый утренний свет властным потоком влился в окно, осенил кровать и одел полунагое тело женщины чистым и живым сиянием.

Подбив под себя красное кумачовое одеяло, мачеха вытянулась, как струна, и, закинув руки за голову, лежала точно в огне. Ласково колебались, точно росли, обнажённые груди, упруго поднялись вверх маленькие розовые соски – видеть их было стыдно, но не хотелось оторвать глаз от них, и они вызывали в губах невольную, щёкотную дрожь. В тени полога лицо женщины казалось незнакомым. Её брови поднялись, рот полуоткрылся, и крылья носа вздрагивали, точно Палага собиралась заплакать, – от неё веяло печалью. Эта печаль, вместе с блеском солнца, прикрывала соблазн наготы строгим и чистым покровом и, угашая робкое волнение юной крови, будила иные, незнакомые чувства.

Матвей опустил полог, тихонько ушёл в свою комнату и сел там на кровать, стараясь что-то вспомнить, вспоминая только грудь женщины – розовые цветки сосков, жалобно поднятые к солнцу.

В солнечном луче кружилась серебряная пыль, за окном смеялись, шаркало железо заступа, глухо падали комья земли.

Матвей подошёл к окну и стал за косяком, выглядывая в сад, светло окроплённый солнцем. Перед ним тихо качались высокие стебли мальвы, тесно усаженные лиловыми и жёлтыми цветами в росе. Сверкающий воздух был пропитан запахом укропа, петрушки и взрытой, сочной земли.

Между гряд, согнувшись и показывая красные ноги, выпачканные землей, рылись женщины, наклоня головы, повязанные пёстрыми платками. Круто выгнув загорелые спины, они двигались как бы на четвереньках и, казалось, выщипывали траву ртами, как овцы. Мелькали тёмные руки, качались широкие бёдра; высоко подобранные сарафаны порою глубоко открывали голое тело, но Матвей не думал о нём, словно не видя его.

Иногда огородницы говорили знакомые юноше зазорные слова, о которых дьячком Корневым было сказано, что «лучше не знать их, дабы не поганить глаголы души, которая есть колокол божий».

Юноша вспомнил тяжёлое, оплывшее жиром, покрытое густой рыжею шерстью тело отца, бывая с ним в бане, он всегда старался не смотреть на неприятную наготу его. И теперь, ставя рядом с отцом мачеху, белую и чистую, точно маленькое облако в ясный день весны, он чувствовал обиду на отца.

Вспомнилась ему отцова шутка. Вскоре после свадьбы он, подмигнув Пушкарю на Палагу, гулявшую в саду, сказал:

– Хороша, а?

– Днём – ничего! – отозвался Пушкарь.

– А ночью – того лучше! – снова подмигивая, молвил отец. – Ночью, положим, все бабы лучше. – И громогласно, сипло захохотал.

Матвею захотелось узнать, почему бабы лучше ночью, и он спросил солдата.

– Бабы-то? – ухмыляясь, ответил Пушкарь. – Они, братец мой, очень другие по ночам! Но, сморщившись, плюнул и уже серьёзно пояснил: – Ведьмов много между ними! В трубу летают – слышал?

– Труба – узкая, – нерешительно заметил Матвей.

– Ну, – ничего! У бабы кости мягки. А тебе однако рано про это знать! – строго закончил он.

– Ишь, откуда он подглядывает за девушками-то! – вдруг услышал Матвей сзади себя голос Палаги. Положив руки свои на плечи ему, она, усмехаясь, спросила: – Которая больше нравится?

– Никоторая! – ответил он, боясь пошевелиться.

В нём зажглось истомное желание обнять Палагу, говорить ей какие-то хорошие, сердечные слова. Выглянув в окно, женщина сказала:

– А вон Натанька Тиунова, хорошая какая! Бабёночка молодая, вольная, – муж-от у неё четыре года тому назад в Воргород ушёл да так и пропал без вести. Ты гляди-ка: пятнадцати годов девчущечку замуж выдали за вдового, всё равно как под жёрнов сунули...

Он слушал молча, избегая её взгляда, боясь, как бы она не догадалась, что он видел её наготу.

Но, несмотря на волнение, он ясно слышал, что сегодня Палага говорит так же нехотя и скучно, как, бывало, иногда говорил отец. Сидя с нею за чаем, он заметил, что она жуёт румяные сочни без аппетита, лицо её бледно и глаза тупы и мутны.

– Нездоровится тебе? – спросил он.

– Нет, – так, чего-то снулая...

Оглянувшись на дверь, она заговорила, быстро и тихо:

– Ой, как боялась я эти дни! Тогда, за ужином-то, – покажись мне, что Савка этот всё знает про меня. Господи! Да и тебя забоялась вдруг. Спаси тебя Христос, Мотя, что смолчал ты! Уж я тебя утешу, погоди ужо...

Улыбнувшись, она подмигнула ему, но и слова и улыбка её показались юноше пустыми, нарочными.

– Ничего мне не надо! – молвил он, краснея.

– Как не надо, милый? Я ведь знаю, какие сны снятся в твои-то годы.

– Не говори про это! – попросил Матвей, опустив голову.

– Ну, не буду, не буду! – снова усмехнувшись, обещала она. Но, помолчав, сказала просто и спокойно: – Мне бы твой грешок выгоден был: ты про меня кое-что знаешь, а я про тебя, и – квиты!

И раньше, чем Матвей успел сказать что-либо в ответ ей, она, всхлипывая и захлёбываясь слезами, начала шептать, точно старуха молитву:

– Глаз завести всю ночь до утра не могла, всё думала – куда пошёл? Человек немолодой, бок у него ножиком пропорот, два ребра сломаны – показывал. Жил здесь – без обиды, тихо. Никого на свете нет у него, – куда идёт? Ох, Мотя, – виновата я перед батюшкой твоим, виновата! Ну, голубь же ты мой тихий, так стыдно молодой женщине со старым мужиком жить, так нехорошо всё это, и такая тоска, – сказать нельзя! Разумный мой, – я глупее тебя, а дам тебе советец верный: коли увидишь, не любит тебя жена, – отпусти её лучше! Отпусти...

И, вскинув руками, она беспомощно поникла.

– Эх, кабы ты постарше был!

– Я всё понимаю! – сказал Матвей, легонько стукнув по столу рукой.

– Где уж! Всего-то и поп не поймёт. Ты бы вот что понял: ведь и Сазан не молоденький, да человек он особенный! Вот, хорошо твой батюшка про старину рассказывает, а когда Сазан так уж как райские сады видишь!

– Разве он умел говорить? – недоверчиво спросил Матвей.

– Тем меня и взял! – горячо ответила женщина, и плечи у неё зарумянились. – Он так умел рассказывать, что слушаешь, и – времени счёту нет! Выйду, бывало, к нему за баню, под берёзы, обнимет он меня, как малого ребёнка, и начнёт: про города, про людей разных, про себя – не знаю, как бог меня спасал, вовремя уходила я к батюшке-то сонному! Уж он сам, бывало, гонит, – иди, пора! Я ведь ничего не знаю, нигде не бывала: Балмеры да Окуров, десять вёрст дороги раз пяток прошла, только и всего! Ведь только и живёшь, когда сон видишь да сказки слушаешь. Кабы у меня дитё было! Да – на сорной-то земле не взойти пшенице...

Она заплакала. Казалось, что глаза её тают, – так обильно текли слёзы. Будь это раньше, он, обняв её, стал бы утешать, глядя щёки ей, и, может быть, целовал, а сейчас он боялся подойти к ней.

Вплоть до самого обеда он ходил за нею, точно жеребёнок за маткой, а в голове у него всё остановилось вокруг голого, только солнцем одетого тела женщины.

За обедом огородницы сидели против него. Они умылись, их опалённые солнцем лбы и щёки блестели, пьяные от усталости глаза, налитые кровью, ещё более пьянели от вкусной пицци, покрываясь маслянистой влагой.

Они хихикали, перемигивались и, не умея или не желая соблюдать очереди в еде, совали ложки в чашку как попало, задевали за ложки рабочих – всё это было неприятно Матвею.

Жадный, толстогубый рот Натальи возбуждал в нём чувство, близкое страху. Она вела себя бойчее всех, её низкий сладкий голос тёк непрерывною струёю, точно патока, и все мужчины смотрели на неё, как цепные собаки на кость, которую они не могут достать мохнатыми лапами.

Часто та или другая женщина взвизгивала, и тогда Палага робко просила:

– А вы, бабочки, потише!

– Дак щиплются! – отвечали ей, охая.

Необычный шум за столом, нескромные шутки мужиков, бесстыдные взгляды огородниц и больше всего выкатившиеся глаза Савки – всё это наполнило юношу тёмным гневом; он угрюмо бросил ложку и сказал:

– Матушка, крикни на них хорошенько, забыли, видно, они, что за столом сидят!

Он сейчас же сконфузился, опустил голову и с минуту не смотрел на людей, ожидая отпора своему окрику. Но люди, услышав голос хозяина, покорно замолчали: раздавалось только чмоканье, чавканье, тяжёлые вздохи и тихий стук ложек о край чашки.

Матвей изумлённо посмотрел на всех и ещё более изумился, когда, встав из-за стола, увидел, что все почтительно расступаются перед ним. Он снова вспыхнул от стыда, но уже смешанного с чувством удовольствия, – с приятным сознанием своей власти над людьми.

В своей комнате, налитой душным зноем полудня, он прикрыл ставень и лёг на пол, вспоминая маленькие зоркие глаза отца и его волосатые руки, которых все боялись.

«Этак-то легко! – думал он. – Только крикнуть, а тебя и слушают, – легко!»

Заснув крепким сном, он проснулся под вечер; в жарком воздухе комнаты таял, пройдя сквозь ставень, красный луч солнца, в саду устало перекликались бабы, мычало стадо, возвращаясь с поля, кудахтали куры и пугливо кричали галчата.

Чувствуя, что сегодня в нём родилось и растёт что-то новое, он вышел в сад и, вдохнув всю силую груди душистый воздух, на минуту опьянел, точно от угара, сладко травившего кровь.

Он любил этот миг, когда кажется, что в грудь голубою волною хлынуло всё небо и по жилам трепетно текут лучи солнца, когда тёплый синий туман застилает глаза, а тело, напоённое пряными ароматами земли, пронизано блаженным ощущением таяния – сладостным чувством кровного родства со всей землёй.

Сквозь мягкий звон в ушах до него долетел тихий крик Палаги:

– Что ты... ой!..

Встряхнув головою, он, улыбаясь, оглянулся, но не увидел мачехи, а снова услышал её возглас:

– Да что ты!

Голос шёл из-за бани; там, в тенистом углу, стояли четыре старые берёзы, почти прижимаясь друг к другу пёстрыми стволами.

Повинуясь вдруг охватившему его предчувствию чего-то недоброго, он бесшумно пробежал малинник и остановился за углом бани, точно схваченный за сердце крепкою рукою: под берёзами стояла Палага, разведя руки, а против неё Савка, он держал её за локти и что-то говорил. Его шёпот был громок и отчётлив, но юноша с минуту не мог понять слов, гневно и брезгливо глядя в лицо мачехе. Потом ему стало казаться, что её глаза так же выкатились, как у Савки, и, наконец, он ясно услышал его слова:

– Теперь – воля! У кого деньги – тот и барин! Х-хо-зяин!

Парень раскачивал руки Палаги, то отводя их от тела, то снова приближая.

Пошатываясь, Палага изнеможённо бормотала:

– Пусти-ка, – с ума ты сошёл!

– Рассчитай: я тебе покоя тут не дам! А его жалеть, старика-то, за что? Кто он такое? Ты подсыпь ему в квас, – я тебе дам чего надо – ты и подсыпай легонько. Лепёшки можно спечь тоже. Тогда бы и сыну...

Матвей понял смысл речи, – он слышал много историй о том, как травят людей белым порошком, – небо побагровело в его глазах, он схватил стоявший под рукою, у стены бани, заступ, прыгнул вперёд и с размаха ударил Савку.

– Батюшки! – взвизгнула Палага, рванувшись в сторону.

Матвей снова размахнулся, но заступ увяз в чём-то, вырвался из его рук, тяжёлый удар в живот сорвал юношу с земли, он упал во тьму и очнулся от боли – что-то тяжёлое топтало пальцы его руки.

Приподнялся, сел. Около него старательно возилась тесная кучка людей, они кряхтели и взмахивали руками, точно молотя зерно. Над забором, между гвоздей, торчали чьи-то головы, оттуда падали одобрения и советы:

– Сади под душу!

– Между крылец-то, эй, чёрный!

Над ним наклонилась Палага, но он не понимал её речи, с ужасом глядя, как бьют Савку: лёжа у забора вниз лицом, парень дёргал руками и ногами, точно плывя по земле; весёлый, большой мужик Михайло, высоко поднимая ногу, тяжёлыми ударами пятки, чёрной, точно

лошадиное копыто, бухал в его спину, а коренастый, добродушный Иван, стоя на коленях, истоиво ударял по шее Савки, точно стараясь отрубить голову его тупым, красным кулаком.

Оборванный, выпачканный кровью и пылью, парень тыкался лицом в землю и кричал визгливо:

– Бу-удет... бу-у... бра-а-атцы...

С забора советовали:

– Поверните, лешие, да против сердца разок!

А громкий голос говорил внушительно и солидно:

– Есть люди, которые с продухами подмышками, как ты его ни бей – ему ничего! Потому два дыхания имеет.

Около Матвея возились Палага, Пушкарь и огородница Наталья, на голове у него лежало что-то мокрое, ему давали пить, он глотал, не отрывая глаз от страшной картины и пытаясь что-то сказать, но не мог выговорить ни слова от боли и ужаса.

– Будет! – крикнул он наконец.

Михайло обернулся к нему и согласно ответил:

– Ну, ин будет!

Савка пополз вдоль забора, цапаясь за доски тёмно-красными руками; его кровь, смешавшись со взрытой землёй, стала грязью, он был подобен пню, который только что выкорчевали: ноги, не слушаясь его усилий, волоклись по земле, как два корня, лохмотья рубахи и портков казались содранной корой, из-под них, с пёстрого тела, струился тёмный сок.

Около Палаги стоял Михайло и, улыбаясь, говорил:

– По чашечке бы с устатка-то, хозяйюшка!

– Ребята! – кричал Пушкарь. – Волоките его в баню! Ах бес, а?

Сердце Матвея больно замирало, руки тряслись, горло душила противная судорога. Он глядел на всех жалобными глазами, держась за руку мачехи, и слова людей царапали его, точно ногтями.

– Степан Фёдорыч, – говорила Палага Пушкарю, – не надо бы в баню-то, как встанет он ночью да как...

С забора радостно крикнули:

– Ага-а, боисси, шкурёха?!.

Матвей вскочил и начал швырять в головы зрителей комьями земли.

Четверо мужиков, взяв Савку за руки и за ноги, поволокли его, точно куль мякины, задевая и шаркая о землю его выгнутою спиною.

– А вы приподнимите его! – серьёзно сказал Михайло. – Этак-то, волоком, шкуру дерёте!

В саду собрались все рабочие, огородницы, Власьева, – Матвей смотрел на них и молчал, изнывая от тяжёлого удивления: они говорили громко, улыбались, шутя друг с другом, и, видимо, никто из них не чувствовал ни страха, ни отвращения перед кровью, ни злобы против Савки. Над ним посмеивались, рассказывая друг другу об ударах, нанесённых ему.

– Дурак он, – добродушно говорил Иван, – так, вроде полоумного даже, ей-богу!

– Воля, говорит! Всё про волю.

– Да-а! Молодой ещё!

Все стали оживлённее и веселее обычного, точно кончили работу и рады, что кончили её, не устав.

Матвей пошёл в кухню – там Власьева, промывая водой большие царапины на плече и левой груди Палаги, говорила:

– Уж как мы пред хозяином будем теперь – не зна-аю!

– Малину поломали, – бормотала Палага.

Увидав пасынка, она повернулась спиной к нему, воскликнув:

– Ой, ты тут, а я оголилася...

– Ничего, – успокоительно сказала Власьевна. – Он ещё дитя...

Юноше захотелось обругать её; стиснув зубы, он вышел из кухни, сел на ступени крыльца и задумался.

Что люди дрались – это было в порядке жизни; он много раз видел, как в праздники рабочие, напившись вина, колотили друг друга, пробуя силу и ловкость; видел и злые драки, когда люди, сцепившись подобно псам, катались по земле бесформенным комом, яростно скрипя зубами и вытаращив налитые кровью, дикие глаза. Эти драки не пугали его. Но теперь, когда он видел, как деловито, истово и беззлобно били человека насмерть, забавляясь избиением, как игрой, – теперь Матвей тяжело почувствовал страх перед людьми, спокойно отиравшими о свои грязные портки пальцы, вымазанные кровью товарища по работе.

Мимо него игриво бегала Наталья, переноса из сада в угол двора корзины выполотой травы и взвизгивая, как ласковая собачка. За женщиной по земле влачилась длинная тёмная тень, возбуждая неясное, нехорошее чувство.

Вышла Палага, села ступенью выше Матвея и спросила, положив ему руку на плечо:

– Больно Савка тебя ударил?

– Нет, – ответил он, невольно подвигаясь к ногам женщины и заглядывая в лицо её, унылое и поблекшее. – Это ты велела бить его?

– Сами они. Как увидела я тебя – ой, какой ты страшный был! – крикнула, – тут он меня за горло, а они и прибежи. Сразу затоптали его. Обидел он меня, а всё-таки – встанет ли?

Матвей посмотрел в небо – около луны, в синей пустоте, трепетно разгоралась золотая звезда. Он снова взглянул в круглое лицо мачехи, спрашивая:

– Сказать им – убейте, вина дам, – убьют они?

Палага, вздохнув, ответила:

– Убьют.

Позвали ужинать. Толстая и седая старуха – по прозвищу Живая Вода – подробно и со вкусом рассказывала о ранах Савки и столах его; мужики, внимательно слушая её льстивую речь, ухмылялись.

– Ничего, – сказал Михайло голосом человека, знающего дело. – Отлежится к утру. Вот меня годов с пять назад слободские утюжили, это да-а!

И все наперебой начали добросовестно вспоминать, где и как били их и когда сами они бивали людей.

«Злые или нет?» – думал Матвей, исподлобья оглядывая людей.

Под шум разговора молодой парень Кузьма, должно быть, ущипнул Наталью; она, глухо охнув, бросила ложку и сунула руки под стол.

– Брысь, беси! – крикнул Пушкарь, звучно щёлкая ложкой по лбу парня и женщину.

Все засмеялись, мачеха что-то жалобно бормотала, а Наталья, сидя с открытым ртом, мычала, тоже, видимо, пробуя смеяться, но лицо её вытянулось и застыло в гримасе боли.

Матвей встал. Ему хотелось что-то сказать, какие-то резкие, суровые слова, вызвать у людей стыд, жалость друг к другу. Слов таких не нашлось, он перешагнул через скамью и пошёл вон из кухни, сказав:

– Не хочу...

А на дворе прижался в углу у запертых ворот и заплакал в бессильной злобе, в страхе и обиде. Там нашла его Палага.

– Сирота моя тихая! – причитала она, ведя его в дом. – Замаляли тебя! И это ещё здесь, не выходя из дома, а каково будет за воротами?

Он прижимался к ней и рычал:

– Так бы всех – по харям! Погоди, вырасту я...

Окно в его комнате было открыто, сквозь кроны лип, подобные прозрачным облакам, тихо сияло лунное небо, где-то далеко пели песни, бубен бил, а в монастыре ударили в колокол печально ныла медь.

Палага, не выпуская руку пасынка, села у окна, он прислонился к её плечу и, понемногу успокаиваясь, слушал задумчивую речь.

– Была бы я дальняя, а то всем известно, что просто девушка порченная, барину Бубнову наложницей была, а батюшка твой за долг меня взял. Никто меня не слушает, не уважает, какая хозяйка я здесь? Редко и по отчеству-то назовут. Выйти не смею никуда, подружек – нет; может, и нашла бы я хороших людей – батюшка из дома не пускает, не верит он в совесть мою. Да и как верить? Торная тропа – ни бесу, ни попу не заказана. Вон Савка-то, парнишка ещё, а говорит: отрави хозяина! Другой бабе-то не сказал бы, а мне – можно! Меня, как приبلудную овцу, всяк своей считает. Скушно мне, не у дела я...

Всхлипнув, она застонала в тоске, обняла Матвея и, прижимая голову ко груди своей, повторила протяжно:

– Ску-ушно мне...

В его груди больно бились бескрылые мысли, он со стыдом чувствовал, что утреннее волнение снова овладевает им, но не имел силы победить его и, вдыхая запах тела женщины, прижимал сомкнутые губы к плечу её.

– Милый мой, – шептала Палага, – на что мы родились? Почто живём?

Незаметно для себя он прислонился к ней плотнее и отскочил, а она простодушно спросила:

– Укололся? Разорвал он мне рубаху-то, я тут булавкой приколола, не успев другую рубаху надеть. Вот, вынула.

Наклонясь к подоконнику, она открыла грудь, и он, не владея более собой, жадно прильнул к ней губами.

– Ой, что ты это? – шептала она, отталкивая его. – Мотя, полно-ка...

Ей удалось подняться на ноги, она оторвала голову его и, держа её в ладонях, шептала, упрекая:

– Видишь вот – отказался давеча от Натальи-то...

И, отодвинувшись от окна в тень, деловито сказала:

– Ты – ложись-ка, а дверь-то не запирай.

– Почто? – спросил Матвей, вздрогнув.

– Уж я знаю!

Крепко поцеловав его в лоб, она ушла, а юноша, обомлев, прижался в угол комнаты, глядя, как на полу шевелятся кружевные тени, подползая к ногам его спутанными клубами чёрных змей.

Юноша взглянул в окно – мягко блеснуло чистое, лунное небо.

«Надо ставень закрыть. Комары...» – как сквозь сон подумалось ему.

И снова прижался к стене, вздрогнув: около его двери что-то шаркнуло, зашуршало, она осторожно открылась, и весь голубой свет луны пал на лицо и фигуру Натальи, как бы отталкивая её.

На лице женщины неподвижно, точно приклеенная, лежала сладкая улыбка, холодно блестя её зубы; она вытянула шею вперёд, глаза её обежали двумя искрами комнату, ощупали постель и, найдя в углу человека, остановились, тяжело прижимая его к стене. Точно плывя по воздуху, женщина прокрадывалась в угол, она что-то шептала, и казалось, что тени, поднимаясь с пола, хватают её за ноги, бросаются на грудь и на лицо ей.

– Уйди! – громко сказал Матвей.

Она не послушалась и всё двигалась к нему; от неё истекал запах земли, пота и увядшей травы.

– Уйди прочь! – крикнул он, когда женщина была так близко, что он мог ударить её. Топнув ногой, он глухо позвал: – Мама!

Он помнил, как Наталья отшатнулась назад, хлопнула дверь, – тут на него упало тяжёлое облако тьмы, закружило его и унесло с собою.

Потом он лежал на постели, задыхаясь от едкого запаха уксуса и хрена, рядом сидела Палага, говоря Власьевне:

– Страшен день послал на нас господь!

А Власьевна тёрла на тёрке хрен, отвернув лицо в сторону, и слащаво пела:

– Какая ты ему мать? В твои годы за эдаких замуж выдают. В деревнях-то и завсе так: парнишке пятнадцать, а девку всегда старше берут. Ничего не поделаешь, коли мужики-то обречены работе на всю жизнь, – всяко извёртываться надобно, чтоб хребет не треснул ране времени...

– Что я буду делать? – не отвечая, бормотала Палага. – Как оборонюсь от наветов-то? Да ещё и этот захворал.

Её испуганные глаза потемнели, осунувшееся лицо казалось раздавленным. Тяжело вздохнув, она приложила ухо к груди Матвея, – он шепнул на ухо ей:

– Прогони Власьевну...

Охнув тихонько, Палага выпрямилась и долго молчала, глядя в стену, а потом нерешительно и тихо молвила:

– Кажись – спит он! Ты, пожалуй, иди, ложись, я позову, коли что...

А когда стряпуха ушла, она, наклонясь к Матвею, тревожно быстро спросила:

– Чем напугала тебя дура эта?

– Ничем! – ответил юноша, стыдливо отводя глаза в сторону, и с гордостью, самому себе не понятной, добавил: – Она и не дотронулась до меня!

Палага подвинулась ближе к нему, спрашивая с жадным любопытством:

– Как же это вышло?

Кратко рассказав ей, он обиженно попенял:

– На что ты её прислала?

– Да ведь как же! – воскликнула она, улыбаясь и покраснев. – Ведь ты...

Играя пальцами её руки, он сказал, вздохнув:

– Я думал, ты сама придёшь...

Она отшатнулась, удивлённо мигнув, и покраснела ещё более густо.

– Посидеть со мной, – окончил Матвей.

Палага тихонько засмеялась, прикрывая рот рукою.

– Ой, господи! Что почудилось мне!

– Что?

– Та-ак.

И, невесело качнув головой, вздохнула.

– Смехи!

– Это кто меня раздел? – смущённо спросил Матвей.

– Мы. А что?

Он завернулся в одеяло, встал и пошёл к окну.

– Ладно ли тебе вставать-то? – заботливо осведомилась женщина, не глядя на него.

– Дышать трудно! – тихо ответил юноша. – Глаза ест хрен...

За окном сияло голубое небо, сверкали редкие звёзды лунной ночи и вздрагивала листва деревьев, словно отряхая тяжёлый серебряный блеск. Был слышен тихий шорох ночной жизни растений и трав.

Оба долго стояли у окна, не говоря ни слова.

– О чём думаешь? – спросил, наконец, Матвей.

– А вот, – медленно ответила женщина, – приедет батюшка твой, начнут ему на меня бухать со всех сторон – что я буду делать? Скажи-ка ты мне...

Матвею польстило, что она спрашивает его совета. Он сдвинул брови и – молчал, не зная, что ответить. Потом, неожиданно для себя, спросил:

– Если сказать Наталье – иди, спи с Пушкарём, – пойдёт?

– Дадут гривенничек – пойдёт! – просто ответила Палага.

– Ругают эдаких-то, – сумрачно сказал юноша, подумав.

– Ругают! – повторила женщина, точно эхо. И снова зазвучал её шёпот: – Приедет батюшка, да объявит в полицию, да как начнут, сраму-то, позора-то сколько будет!

– Постой! – сказал Матвей, прислушиваясь.

Луна уже скатилась с неба, на деревья лёг густой и ровный полог темноты; в небе тускло горели семь огней колесницы царя Давида и сеялась на землю золотая пыль мелких звёзд. Сквозь завесу маличника в окне бани мерцал мутный свет, точно кто-то протирал тёмное стекло жёлтым платком. И слышно было, как что-то живое трётся о забор, царапает его, тихонько стонет и плюёт.

– Савка! – шепнула Палага, схватившись за грудь.

– Уходит! – сообразил Матвей, оживляясь. – Пусть идёт! Давай-ка отопрём ворота – не перелезть через забор ему...

– Ушибёт он тебя...

Но он уже высунулся за окно и громко шептал в тишину сада:

– Савка, иди во двор, я тебе отопру ворота, иди скорей...

В саду всё затихло, потом раздался хриплый ответ:

– Водки вынеси...

Палага побежала из комнаты.

– Я налью!

Наскоро одевшись, Матвей выскочил на крыльцо, бросился к воротам, – у калитки стоял на коленях Савка, влажно хрипел, плевался, его голова качалась, напоминая неровно выточенный чёрный шар, а лица не было.

– Что-о, – хрипел он, пока Матвей отодвигал запор, – уходили насмерть, а теперь боитесь?

Приоткрыв калитку, Матвей выглянул во тьму пустынной улицы; ему представилось, как поползёт вдоль неё этот изломанный человек, теряя кровь, и – наверное – проснутся собаки, завоют, разбуженные её тёплым запахом.

– Испугались, сволочи! – рычал Савка. – Кабы я полиции не боялся, я бы не ушёл... я бы-и...

Прибежала Палага, протягивая Матвею большой чайный стакан. Савка, учуяв едкий запах водки, сопел, ощупывая воздух пальцами.

– Где? Не вижу...

Темнота и, должно быть, опухоли увеличили его тело до жутких размеров, руки казались огромными: стакан утонул в них, поплыл, остановился на уровне Савкиной головы, прижавшись к тёмной массе, не похожей на человеческое лицо.

Пил Савка долго, пил и мычал:

– Ум... умм...

Потом, бросив стакан на землю, сказал, вставая на ноги:

– Ну, пускай!

Матвей широко распахнул калитку. Палага сунула в руку ему что-то тяжёлое, обёрнутое в шерсть.

– Дай ему, – деньги...

Савка, услышав её шёпот, странно завыл:

– А-а – на гроб-могилу? Ну, кабы не боялся я... давай! С пасынком живёшь, Палашка! Лучше эдак-то. Тот издохнет, ты всё – хозяйка...

Он качался в калитке, скребя ногтями дерево, точно не мог шагнуть на улицу. Но вывалившись за ворота, он вдруг более твёрдым и освежившим голосом сказал, стукнув чем-то по калитке:

– Эй, вы, сволочи, – не запирай ворота-то... а то догадаются, что сами вы меня выпустили, – дурачье!

«Верно сказал!» – подумал Матвей, и в нём искрой вспыхнуло доброе чувство к Савке.

Палага, сидя на завалинке дома, закрыла лицо ладонями, было видно, как дрожат её плечи и тяжело вздымается грудь. Она казалась Матвею маленькой, беззащитной, как ребёнок.

Около строящегося собора сторож сухо колотил по доске, кончил он – торопливо задрезжали звуки чугунного била на торговой площади. Светало, синее небо становилось бледнее, словно уплывало от земли.

– Идём спать! – сказал Матвей, крепко взяв женщину за руку.

Жалкий вид её согнутой фигуры, неверные шаги и послушное подчинение – всё это внушало ему заботу о ней.

– Замучилась? – ласково молвил он, чувствуя себя сильнее и старше её.

Она кивнула головой. В комнате отца Матвей погладил её руку, говоря:

– Ложись да спи скорее! Это хорошо, что ушёл он, Савва-то...

– Да-а, – тихонько ответила Палага и стала расстёгивать сарафан.

Он с невольным изумлением оглянул комнату, полную прохладной, тающей тьмой, широкую кровать, гору красных подушек на ней и с гордостью почувствовал себя полным хозяином этой женщины.

– Защитушка ты моя – что бы я делала без тебя! – укрепляя его ощущение силы и власти, бормотала Палага, сидя на кровати в одной рубашке, словно прозрачная на тёмном фоне одеяла.

Полуоткрыв рот, он присматривался к очертаниям её тела и уже без страха, без стыда, с радостью чувствовал, как разгорается в нём кровь и сладко кружится голова.

– А и тебя тоже боязно – не маленький ты, – слышал он тихий, зовущий шёпот. – Всё ближе ты да ближе! Вон что Савка-то пролаял! Да и Власевна говорит – какая-де я тебе мать?

Матвей подошёл к ней, – размахнув руками, точно крыльями, она прижала его к себе и поцеловала в лоб, сердечно сказав:

– Прощай, родимый!

...С лишком сорок лет прошло с этого утра, и всю жизнь Матвей Кожемякин, вспоминая о нём, ощущал в избитом и больном сердце бережно и нетленно сохранённое чувство благодарности женщине-судьбе, однажды улыбнувшейся ему улыбкой пламенной и жгучей, и – богу, закон которого он нарушил, за что и был наказан жизнью трудной, одинокой и обильно оплёванной ядовитой слюною строгих людей города Окурова.

Он чётко помнит, что, когда лежал в постели, ослабев от поцелуев и стыда, но полный гордой радости, над ним склонялось розовое, утреннее лицо женщины, она улыбалась и плакала, её слёзы тепло падали на лицо ему, вливаясь в его глаза, он чувствовал их солёный вкус на губах и слышал её шёпот – странные слова, напоминавшие молитву:

«Пусть горе моё будет в радость тебе и грех мой – на забаву, не пожалуюсь ни словом никогда, всё на себя возьму перед господом и людьми! Так ты обласкал всю меня и утешил, золотое сердце, цветочек тихий! Как в ручье выкупалась я, и словно душу ты мне омыл – дай тебе господи за ласку твою всё счастье, какое есть...»

Очарованный неведомыми чарами, он молча улыбался, тихонько играя волосами её, не находя слов в ответ ей и чувствуя эту женщину матерью и сестрой своей юности.

В памяти его вставали вычурным и светлым строем мудрые слова дьячка Коренева:

«Брак есть духовное слияние двух людей для ради совокупного одоления трудностей мучительных житейских, кои ежедень, подобно змеям, неотступно и люто жалят душу».

Ему хотелось сказать это Палаге, но она сама непрерывно говорила, и было жалко перебивать складный поток её речи.

В небе разгорался праздничный день, за окном вздыхал сад, окроплённый розовым золотом утренних лучей, вздрагивали, просыпаясь, листья и протягивались к солнцу; задумчиво и степенно, точно молясь, качались вершины деревьев.

На белой коже женщины вспыхнули золотые пятна солнца, она испуганно соскочила на пол.

– Ой, сейчас встанут все, загалдят! Савку-то прозевали, прибегут будить меня – уходи скорее!

Раздетая, она была странно маленькой, ловкой и складной.

Придя к себе, Матвей лёг, закрыл глаза и не успел заснуть, как услышал крик Пушкаря на дворе:

– Тебе, косолапому бесу, башки своей не укараулить, не брался бы! Чего теперь Савелий-то скажет? Ну, припасай морду!

Имя отца дохнуло на юношу холодом; он вспомнил насмешливые, хищные глаза, брезгливо оттопыренную губу и красные пальцы пухлых рук. Съёжился и сунул голову под подушку.

Четыре дня не было отца, и каждая минута этих дней памятна Кожемякину, – он обладал здоровой и редкой способностью хорошо помнить светлые минуты жизни.

Они сразу выдали людям свой грех: Матвей ходил как во сне, бледный, с томными глазами; фарфоровое лицо Палаги оживилось, в глазах её вспыхнул тревожный, но добрый и радостный огонь, а маленькие губы, заманчиво припухшие, улыбались весело и ласково. Она суетливо бегала по двору и по дому, стараясь, чтобы все видели её, и, звонко хлопая ладонями по бёдрам, вскрикивала:

– Ай, батюшки, забыла!

Широкорожая Власьевна многозначительно и едко улыбалась, Пушкарь крепко тёр ладонью щетину на подбородке и мрачно сопел, надувая щёки.

Однажды после ужина, ожидая Палагу, Матвей услышал в кухне его хриплый голос:

– Ду-ура!

– Уж дура ли, умная ли, а такому греху не потатчица. Чтобы с матерью...

– С тобой бы, а? Какая она ему мать?

– Как так? С отцом, чай, обвенчана.

– Бес болотный! Кабы у них дети были?

– Что ты говорить, безбожник? А ещё солдат...

– Тьфу тебе!

Матвей слушал, обливаясь холодным потом. Пришла Палага, он передал ей разговор в кухне, она тоже поблекла, зябко повела плечами и опустила голову.

– Власьевна скажет! – прошептала Палага. – Она сама меня на эту дорожку, к тебе, толкала. Надеется всё. Ведь батюшка-то твой нет-нет да и вспомнит её милостью своею...

Матвей не поверил, но Палага убедила его в правде своих слов.

– Мне что? Пускай их, это мне и лучше. Ты, Мотя, не бойся, – заговорила она, встряхнувшись и жадно прижимая его голову ко груди своей. – Только бы тебя не трогали, а я бывала бита, не в диковинку мне! Чего боязно – суда бы не было какого...

Задумалась на минуту и снова продолжала веселее:

– А Пушкарь-то, Мотя, а? Ах, милый! Верно – какая я тебе мать? На пять лет и старше-то! А насчёт свадьбы – какая это свадьба? Только что в церковь ходили, а обряда никакого и не было: песен надо мной не пето, сама я не повыла, не поплакала, и ничем-ничего не было,

как в быту ведётся! Поп за деньги венчал, а не подружки с родными, по-старинному, по-отеческому...

– Подожди! – сказал Матвей. – Боюсь я. Может, бежать нам? Бежим давай!

Палага с неожиданной силой сжала его и, целуя грудь против сердца, говорила:

– Хрустальный ты мой, спаси ты господи за ласковое слово!

Глаза её, поднятые вверх, налились слезами, как цветы росой, а лицо исказилось в судороге душевной боли.

Он испугался, вскочил, женщина очнулась, целовала его, успокаивая, и когда Матвей задремал на её руках, она, осторожно положив голову его на подушку, перекрестила и, приложив руку к сердцу, поклонилась ему.

Сквозь ресницы он видел этот поклон и – вздрогнул, охваченный острым предчувствием беды.

Утром его разбудил Пушкарь, ещё более, чем всегда, растрёпанный, щетинистый и тёмный.

– Лежишь? – сказал он. – Тебе бы не лежать, а бежать...

– Куда? – спросил Матвей, не скрывая, что понимает, о чём речь.

– То-то – куда! – сокрушённо качая головой, сказал солдат. – Эх, парень, не ладно ты устроил! Хошь сказано, что природа и царю воевода, – ну, всё-таки! Вот что: есть у меня верстах в сорока дружок, татарин один, – говорил он, дёргая себя за ухо. – Дам я записку к нему, – он яйца по деревням скупает, грамотен. Вы посидите у него, а я тут как-нибудь повоюю... Эх, Матвейка, – жалко тебя мне!

Вошла Палага, кивнула головой и встала в двери, словно в раме.

– Вот она, грош цена, – ворчал солдат, потирая щёку. И, вдруг широко открыв рот, захотел, как сова на болоте.

– Ах, дуй вас горой!

Он тряс шершавой головой, икал и брызгал слюною, скрыв свои маленькие глазки в густой сети морщин.

– Стой-ка! – воскликнула женщина, струною вытянувшись вверх.

Из сада назойливо лез в окно глухой звук, приближался, становясь всё торопливее и ясней.

– Пожалуй – он? – медленно сказал Пушкарь. – Ну, ребята, становись на правёж!

Матвею показалось, что кто-то невидимый и сильный схватил его одной холодной рукою за голову, другою – за ноги и, заморозив кровь, растягивает тело. Палага крестила его частыми крестами и бормотала:

– Бог грешным милостив... милостив...

Наскоро одевшись, нечёсанный и неумытый, сын выскочил на двор как раз в тот миг, когда отец въезжал в ворота.

– Здорово ли живёте? – слышал Матвей хриплый голос.

Потом отец, огромный, серый от пыли, опалённый солнцем, наклонясь к сыну, тревожно гудел:

– Ты что какой, а? Нездоров, а?

А потом, в комнате Матвея, Пушкарь, размахивая руками, страшно долго говорил о чём-то отцу, отец сидел на постели в азыме, без шапки, а Палага стояла у двери на коленях, опустив плечи и свесив руки вдоль тела, и тоже говорила:

– Бей меня... бей!

Лицо старика, огромное и багровое, странно изменилось, щёки оплыли, точно тесто, зрачки слились с белками в мутные, серо-зелёные пятна, борода тряслась, и красные руки мяли картуз. Вот он двинул ногой в сторону Палаги и рыкнул:

– Уйди прочь, стерва...

Встал, расстегнул ворот рубахи, подошёл к двери и, ударив женщину кулаком по голове, отпихнул её ногой.

– Иди со мной, Степан! – сказал он, перешагивая через её тело.

Пушкарь тоже вышел, плотно притворив за собою дверь.

Было слышно, как старик, тяжело шаркая ногами, вошёл в свою горницу, сбросил на пол одежду, распахнул окно и загремел стулом.

Когда ушёл отец, сыну стало легче, яснее; он наклонился к Палате, погладил её голову.

– Брось, не тронь! – пугливо отшатнувшись, прошептала она.

Но он опустился на пол рядом с нею, и оба окостенели в ожидании.

Всё, что произошло до этой минуты, было не так страшно, как ожидал Матвей, но он чувствовал, что это ещё более увеличивает тяжесть которой-то из будущих минут.

Дом наполнился нехорошею, сердитой тишиною, в комнату заглядывали душные тени. День был пёстрый, над Ляховским болотом стояла сизая, плотная туча, от неё не торопясь отрывались серые пушистые клочья, крадучись, ползли на город, и тени их ощупывали дом, деревья, ползали по двору, безмолвно лезли в окно, ложились на пол. И казалось, что дом глотал их, наполняясь тьмой и жутью.

Прошло множество тяжких минут до поры, пока за тонкою переборкою чётко посыпалась речь солдата, – он говорил, должно быть, нарочно громко и так, словно сам видел, как Матвей бросился на Савку.

– Больно ушиб? – глухо спросил отец.

– Жалуется Матвей на живот, – живот, говорит, болит...

Палага радостно шептала:

– Ой, миленький, это он – чтобы не трогал тебя батя-то!

– Ну, лежит он, – барабанил Пушкарь, – а она день и мочь около него. Парень хоть и прихворнул, а здоровье у него отцово. Да и повадки, видно, тоже твои. Сказано: хозяйский сын, не поспоришь с ним...

– Ты мне её не оправдывай, потатчик! – рявкнул отец. – Она кто ему? Забыл?

– Вона! – воскликнул солдат. – Ей – двадцать, ему – пятнадцать, вот и всё родство!

– Ну, пошёл, иди! Пошли её сюда, а Мо... сын вышел бы в сад, – ворчал отец.

– Ты вот что... нам дворника надо...

– После!

– А ты слушай: есть у меня верстах в сорока татарин на примете...

– После, говорю!

– Вот ты меня и пошли за ним, а Матвея со мной дай...

– Молись за него, Мотя! – серьёзно сказала Палага и, подняв глаза вверх, беззвучно зашевелила губами.

Матвей чутко слушал.

– Ладно, – сказал отец.

– Я не поеду, не хочу! – шепнул Матвей.

– Родимый!

– Завтра и поеду! – предложил солдат.

– Сегодня бы! – сказал отец.

– Нельзя, не справлюсь!

– Пушкарь!

– Ай?

– Плохо дело-то!

– Чем?

– Зазвонят в городе...

Матвей невольно сказал:

– Боится людей-то!

– А как же их не бояться? – ответила женщина, вздохнув.

– Вона! – вскричал Пушкарь. – Удивишь нас звоном этим! Ты вот стряпке привяжи язык короче...

– Савку-то вам бы до смерти забить да ночью в болото...

– Что – лучше этого! Ну – иду! Ты, Савелий, попомни – говорится: верная указка не кулак, а – ласка!

– Иди! – крикнул старик.

Отворилась дверь, и Пушкарь, подмигивая, сказал Палаге громко:

– Иди к хозяину!

И, наклонясь, зашипел:

– Ду-ура! Оделась бы потолще. Наложил за пазухи-те чего-нибудь мягкого, ворона!

Палага усмехнулась, обняла голову пасынка, молча поцеловала и ушла.

Солдат взял Матвея за руку.

– Айда!

– Бить он её будет? – угрюмо спросил юноша.

– Побьёт несколько, – отвечал солдат и успокоительно прибавил: – Ничего, она баба молоденькая... Бабы – они пустые, их можно вот как бить! У мужика внутренности тесно положены, а баба – у неё пространство внутри. Она – вроде барабана, примерно...

Беспомощный и бессильный, Матвей прошёл в сад, лёг под яблоней вверх лицом и стал смотреть в небо. Глухо гудел далёкий гром, торопливо обгоняя друг друга, плыли дымные ключья туч, вздыхал влажный жаркий ветер, встряхивая листья.

– Оо-рро-о-о! – лениво рычал гром, и казалось, что он отсырел.

В голове Кожемякина бестолково, как мошки в луче солнца, кружились мелкие серые мысли, в небе неустанно и деловито двигались на юг странные фигуры облаков, напоминая то копну сена, охваченную синим дымом, или серебристую кучу пеньки, то огромную бородатую голову без глаз с открытым ртом и острыми ушами, стаю серых собак, вырванное с корнем дерево или изорванную шубу с длинными рукавами – один из них опустился к земле, а другой, вытянувшись по ветру, дымит голубым дымом, как печная труба в морозный день.

Матвей чувствовал, что Палага стала для него ближе и дороже отца; все его маленькие мысли кружились около этого чувства, как ночные бабочки около огня. Он добросовестно старался вспомнить добрые улыбки старика, его живые рассказы о прошлом, всё хорошее, что говорил об отце Пушкарь, но ничто не заслоняло, не гасило любовного материнского взгляда милых глаз Палаги.

Мучительная тревога за неё сжимала сердце, юноша ощущал горячую сухость в горле, ему казалось, что из земли в спину и в затылок ему вырастают острые шипы, рвут тело.

Вдруг он увидел Палагу: простоволосая, растрёпанная, она вошла в калитку сада и, покачиваясь как пьяная, медленно зашагала к бане; женщина проводила пальцами по распущенным косам и, вычёсывая вырванные волосы, не спеша навивала их на пальцы левой руки. Её лицо, бледное до синевы, было искажено страшной гримасой, глаза смотрели, как у слепой, она тихонько откашливалась и всё вертела правой рукой в воздухе, свивая волосы на пальцы.

Матвей вскочил с земли, подкинутый взрывом незнакомой ему злобы.

– Больно?

– Ничего! – ответила она серьёзно и просто. – Ты теперь...

Пошатнувшись, схватила его за плечо и прошептала, задышавшись:

– Пушкаря возьми, – ты не ходи один! Он меня – в живот всё ножищами-то... ребёночка, видно, боится...

– Ну, пусть и меня бьёт, – пробормотал Матвей, срываясь с места.

Слепо, как обожжённый, он вбежал в горницу и, не видя отцова лица, наскაკивая на его тёмное тело, развалившееся на скамье у стола, замахал сжатыми кулаками.

– Бей и меня, – ну, бей!

И замолчал, как ушибленный по голове чем-то тяжёлым: опираясь спиной о край стола, отец забросил левую руку назад и царапал стол ногтями, показывая сыну толстый, тёмный язык. Левая нога шаркала по полу, как бы ища опоры, рука тяжело повисла, пальцы её жалобно сложились горсточкой, точно у нищего, правый глаз, мутно-красный и словно мёртвый, полно налился кровью и слезой, а в левом горел зелёный огонь. Судорожно дёргая углом рта, старик надувал щёку и пыхтел:

– Са-ппа... ппа... ппа...

Матвей выскочил из горницы и наткнулся на Власьевну.

– Эк тебя! – услышал он её крик, и тотчас же она завизжала высоко и звонко:

– Ба-атюшки! Уби-или! Отца-а...

С этой минуты, не торопясь, неустанно выматывая душу, пошли часы бестолкового хаоса и тупой тоски.

Точно головня на пожаре в серой туче дыма, летал Пушкарь, тряс Власьевну, схватив её за горло, и орал:

– Я те дам убийство!

– Кровь, миленький, на полу...

– Палагина, а не его! Вас, ведьмов, в омута бросать надо!

Палата, держась одной рукой за косяк, говорила:

– Брось её! Попа-то, лекаря-то бы...

Отец, лёжа на постели, мигал левым глазом, в его расширенном зрачке неугасимо мерцала острая искра ужаса, а пальцы руки всё время хватали воздух, ловя что-то невидимое, недающееся.

По двору, в кухне и по всем горницам неуклюже металась рабочая. Матвей совался из угла в угол с какими-то тряпками и бутылками в руках, скользя по мокрому полу, потом помогал Палаге раздевать отца, но, увидав половину его тела неподвижную, синюю и дряблой на ощупь, испугался и убежал.

В тёмном небе спешно мелькали бледные окурковские молнии, пытаясь разорвать толстый слой плотных, как войлок, туч; торопливо сыпался на деревья, крыши и на и землю крупный, шумный летний дождь – казалось, он спешит как можно скорее окропить это безнадежное место и унести свою живительную влагу в иные края. Рокотал гром, шумели деревья, с крыш лились светлые ленты воды, по двору к воротам мчался грязный поток, в нём, кувыряясь, проплыла бобина, ткнулась в подворотню и настойчиво застучала в неё, словно просясь выпустить её на улицу.

Вышла Палага, положила подбородок свой на плечо Матвея, как лошадь, и печально шептала в ухо ему:

– Миленький, – видно, и мне в монастырь идти, как матушке твоей...

Стучали в ворота, Матвей слышал стук, но не отпирал и никого не позвал. Выскочил из амбара весёлый Михайло и, словно козёл, прыгая по лужам, впустил во двор маленького, чёрного попа и высокого, рыжего дьячка; поп, подбирая рясу, как баба сарафан, громко ворчал:

– Священно-церковно-служителя зовут, а ворот не отпирают! Дикость!

Когда он вошёл в дом, Михайло, сладостно побрякивая, развязал пояс рубахи и начал прыгать на одном месте: дождь сёк его, а он тряс подол рубахи, обнажая спину, и ухал:

– Уухх-ты-ы! У-ухх! А-а!

Это было так вкусно, что Матвею тоже захотелось выскочить на дождь, но Михайло заметил его и тотчас же степенно ушёл в амбар.

«Отец помирает!» – напомнил себе юноша, но, прислушавшись к своим чувствам, не нашёл в них ничего яснее желания быть около Палаги.

Дождь переставал, тучи остановились над городом и, озаряемые голубоватым блеском отдалённых молний, вздрагивали, отряхая на грязную землю последние, скупые капли. Каркала ворона, похваливая дождь.

Снова долго стучали железной щеколдой и пинками в калитку, а в амбаре глухо спорили:

– Иди, отпирай!

– Я попу отпирал.

– Попу-то и я бы отпер...

– Иди, Ван!

– Яким, иди ты!

Сухой, угловатый Яким вылез из амбара, поглядел на лужи, обошёл одну, другую и попал в самую середину третьей, да так уж прямо, не спеша и не обходя грязи, и дошёл до ворот.

Высокий человек в картузе с кокардой, в сером смешном казакине и полосатых штанах навывпуск, спросил:

– Здесь больной?

Яким подумал, потрогал свой пупок и ответил:

– Хозяин-от? Куда ж ему деваться? Ту-ут он, в горницах.

– Болван! – просто сказал человек с кокардой. Матвей тоскливо вздохнул, чувствуя, что серые тесные облака всасывают его в свою гущу.

– Что? – неожиданно спросил Пушкарь, подходя сзади, и, ударив Матвея по плечу, утешительно объяснил: – Ничего! Это – паларич. У нас был капитан Земель-Луков, так его на параде вот эдак-то хватило. Чебурах наземь и – вчистую!

– Умер? – спросил Матвей.

– А как же? Обязательно умер!

– Тятя тоже умрёт?

– Чудак! – усмехнулся солдат, поглядывая в сторону. – И он, и я, и ты – на то живём! Дело сделал и – вытягивай ходилки!

Помолчав, Матвей сказал укоризненно и тихо:

– Избил он Палагу-то.

– Н-да, видать, попало ей! – согласился Пушкарь. – Нельзя, жалко ему! Ревностный он, старый бес, до баб! Обидно рыжему козлу!

Солдат неприятно сморщился, плюнул и старательно растёр плевков ногой, а потом ласково добавил:

– Ничего, она хрюшка здоровенная!

Оглянувшись, Матвей шёпотом спросил:

– Тебе жалко тятю-то?

– Привык я! – сказал Пушкарь, вздыхая. – Мы с ним ничего, дружно жили. Уважались оба. Дружба с человеком – это, брат, не гриб, в лесу не найдёшь, это, брат, – в сердце растёт!

И ушёл, поднимая ноги высоко, как журавль, ставя их в грязь твёрдо и шумно.

Матвей остался в сених, соображая:

«Говорит нехорошо про отца, плюёт. А жалеет...»

Снова явилась Палага и, виновато улыбаясь, сказала:

– Не могу больше стоять на ногах...

Он отвёл её в свою горницу и, когда она легла на постель, заведя глаза под лоб, уныло отошёл от неё, отодвинутый знакомым ему, солоноватым тёплым запахом, – так пахло от избитого Савки.

– Не надо бы мне ложиться у тебя, – бормотала она. – Растоптал он, раздавил, видно, внутри-то у меня.

Матвей взглянул на неё и вдруг со страшной ясностью понял, что она умрёт, об этом говорило её лицо, не по-человечески бледное, ввалившиеся глаза и синие, точно оклеенные чем-то, губы.

Он молча ткнулся головой в грудь ей. Палага застонала и, облизывая губы сухим языком, едва слышно попросила:

– Сними головку-то, – дышать мне тяжело...

Потом сын стоял рядом с Пушкарём у постели отца; больной дёргал его за руку и, сверкая зелёным глазом, силился сказать какие-то слова.

– Пу... пуш...

Солдат тыкал себя пальцем в грудь, спрашивая:

– Я, что ли?

– Ма...

– Матвей? Чтобы мне его наблюдать – так, что ли? Ну, это я знаю! Ты, Савёл, об этом ни-ни...

Но старик махал рукою и шипел:

– Ах-хи-и... Паш... аш... мо... мо-о...

– Ну, да! – сказал Пушкарёв. – Я знаю! Монастырь.

Старик отталкивал руку сына, хватался за сердце, мычал и шипел, тяжело ворочая языком, хлопал себя по бедру и снова цапал сына потными, толстыми пальцами.

Вся левая половина его тела точно стремилась оторваться от правой, спокойно смотревшей мёртвым глазом куда-то сквозь потолок. Матвею было страшно, но не жалко отца; перед ним в воздухе плавало белое, тающее лицо женщины. Голос старика напоминал ему шипение грибов, когда их жарят на сковороде.

У окна стоял поп и говорил лекарю:

– Более же всего я люблю сомов, даже во снах, знаете, вижу их нередко...

Высокий дьячок, стоя перед часами, скоблил пальцем жёлтый циферблат, густо засиженный мухами; эти мухи – большущие, синие – наполняли воздух горницы непрерывным гудением. Всё вокруг было крепко оклеено вязкою тоскою, всё как бы остановилось, подчиняясь чьей-то неведомой власти.

Так прошло четыре тёмных, дождливых дня, на третий – удар повторился, а ранним утром пятого дня грузный, рыжий Савелий Кожемякин помер, и минуту смерти его никто не видал. Монахиня, сидевшая у постели, вышла в кухню пить чай, пришёл Пушкарёв сменить её; старик лежал, спрятав голову под подушку.

– Я говорю, – рассказывал солдат, – ты чего спрятался? Это я будто шутю! Ты, говорю, не прячься! Приоткрыл, а он тово, – весь тут, окромя души...

Матвей рыдал от невыносимого страха перед смертью, проснувшейся жалости к отцу и боязни за Палагу.

Она не вставала, металась в жару и бредила, живот её всё вздувался. Не раз Матвей видел в углу комнаты тряпки, испачканные густой, тёмной кровью, и все дни его преследовал её тяжёлый, пьяный запах.

Изредка приходя в сознание, женщина виновато смотрела в лицо Матвея и шептала:

– Ой, как я расхворалась! Горницу отбила у тебя. Где ты спишь-то, – хорошо ли тебе спать-то?

Хоронили отца пышно, со всеми попами города и хором певчих; один из них, пожарный Ключарёв, с огромною, гладко остриженной головою и острой, иссиня-чёрной бородой, пел громче всех и всю дорогу оглядывался на Матвея с неприятным, подавляющим любопытством.

Прислушиваясь к мирному, глухому говору людей, молодой Кожемякин с удивлением слышал немало добрых речей об отце.

– Что гордион и буеслов был покойник, это – с ним! – говорил старик Хряпов, идя сзади Матвея. – Ну, и добр был: арестантам ежесубботне – калачи...

– Арестанты – это верно! Они ему того – близки были...

– На пасху – яйца, творог, на рождество – мясо...

И, перечислив подробно все деяния усопшего, Хряпов покаянно сказал:

– А не уважал людей – дак ведь и то сказать надобно: за какие дела уважать нас? Живём, конечно, ну – ловкости особенной от нас для этого не требуется...

Кто-то ворчал:

– Неведомо нам, сколько демонов обступят смертные одры наши в час остатний...

Рядом с Матвеем шагал длинный и похожий на скворешницу Пушкарь в невиданном, тёмно-зелёном мундире с позументами на воротнике и на рукавах, с медными пуговицами на груди и большой чёрной заплатой подмышкой. Иногда он, оборачиваясь назад, поднимал руку вверх и строго командовал:

– Тиш-ша!

Слушались.

Когда стали погружать в серую окурговскую супесь тяжёлый гроб и чернобородый пожарный, открыв глубочайшую красную пасть, заревел, точно выстрелил: «Ве-еч...» – Ммтвей свалился на землю, рыдая и биясь головою о чью-то жёсткую, плешивую могилу, скупую одетую дёрном. Его обняли цепкие руки Пушкаря, прижали щекой к медным пуговицам. Горячо всхлипывая, солдат вдвухвал ему в ухо отрывистые слова:

– Ничего! Держись! Слушай команду, мотыль! Я, брат, – вот он я!

И всю дорогу, вплоть до двора, солдат бормотал, храбро попирая липкую окурговскую грязь:

– Командир был своей жизни, да! Он? Кабы в другом месте, он бы делов наделал! Лют был на работу! Дом этот купив, что делал, супостат рыжий! И печник он, и кровельщик, и маляр, и плотник – куда хошь! А гляди, какой сад развёл: деревья – красавцы, червя – нет, кора чистая, ни лишайники! К нему монахини ходили садовому делу учиться, – мастер, ведун! Это, брат, дорогого стоит, когда можешь людей чему доброму научить! Бывало, говорит: не одни цветы да травы, а и человек должен землю украшать – да! Железо ковать, жену целовать везде поспел! Я, бывало, шутю: Савелий, вон там лес стоит, подь, выкоси его к вечеру! Жили, брат, как надо, правильно! И ты так живи: с человеком – и подерись, а сердцем поделись...

Придя домой, юноша со стыдом почувствовал, что ему нестерпимо хочется есть; он видел, что поминки начнутся не скоро: рабочие остались врываться крест на кладбище, и нищих собралось мало. Тогда он тихонько стащил со стола кусок ситного хлеба, ушёл в сад, там, спрятавшись в предбаннике, быстро съел его и, чувствуя себя виноватым, вышел на двор.

Он впервые увидел так много людей, обративших на него внимание. Девять столов было накрыто на дворе; в кухне Власьевна и Наталья пекли блины, из окна густо текло жирное шипение масла, нищие, заглядывая в окно, нетерпеливо и жадно потягивали носами. Их было несколько десятков, здоровых и калек, и все они, серые, тихие, лениво топтавшиеся по двору, заползая во все углы, показались Матвеем противными, как вши. Двор был натискан лохмотьями и набит шорохом голосов, подобным мурлыканью множества кошек. Отовсюду на лицо Матвея падали слащавые улыбки, в уши вторгался приторный шёпот сочувствия, восхищения молодостью, красотой и одеждой, вздохи, тихие слова молитв. Он замечал, как злые и жадные глаза, ощупывая его, становились покорны, печальны и ласковы, – и, обижаясь этой, слишком явною, ложью, опускал голову.

Седые, грязные волосы всклокоченных бород, опухшие жёлтые и красные лица, ловкие, настороженные руки, на пальцах которых, казалось, были невидимые глаза, – всё это напоминало странные видения божьего крестника, когда он проезжал по полям мучений человеческих. Как будто на двор с улиц города смели все отрепья, среди них тускло сверкали осколки

бутылок и ветер брезгливо шевелил эту кучу гнилого сора. Только две-три фигуры, затёртые в углах двора, смотрели на всё вокруг равнодушными глазами, как бы крепко связанные бесконечной, неразрешимой думой о чём-то важном.

К Матвею подкатился пузатый человечек с бритым лицом, вытаращил круглые, точно копейки, стёртые глаза, изорванные сетью красных трещин. Размахивая короткой рукой, он начал кричать:

Вотще и втуне наши пени,
Приидет смерть с косой своей
И в ярый холод смертной сени
Повергнет радость наших дней!..

А сзади кто-то торопливо совал в ухо Матвея сухие слова:

– Не верь ему, родимый! Он не юродивый, а чиновник, – чиновник он, за воровство прогнан, гляди-ка ты, клоп какой, – у нас тут настоященький есть юродивый...

– Государь мой, – говорил чиновник жалобно и громко, – прошу послушать превосходные и утешительные стихиры, сочинённые дядей моим, знаменитым пиитой и надворным...

Но его оттёрли прочь, поставив перед Матвеем длинного человека, несуразно сложенного из острых костей, наскоро обшитых старой, вытертой, коричневой кожей. Голова у него была маленькая, лоб выдвинулся вперёд и навис над глазами; они смотрели в лицо юноши, не мигая и словно не видя ничего.

– Спой, Алёша, спой песенку! – говорили ему.

Он затопал ногой о землю и стал ворчать, неясно и с трудом выговаривая слова:

Жил Пыр Растопыр.
Обежал он целый мир,
Копеечек наловил
Смерть себе купил...

И снова в ухо юноши кто-то быстро сыпал:

– Об этом тебе бы подумать: он ничего зря не говорит, а всё с намерением, великого подвига человек, тоже купеческий сын...

Матвей задыхался в тесном зловонном плену, но вдруг нищие закачались, их плотная груда поредела.

– Живо за столы, мизгирьё! – кричал солдат.

Матвею хотелось сказать, что он боится нищих и не сядет за стол с ними, противны они ему, но вместо этого он спросил Пушкаря:

– Что ты как толкаешь их?

– Они за толчком не гонятся...

– Они за нас бога молят...

– В кабаках больше...

Кожемякин спросил:

– Ты чего-нибудь боишься?

– Я?

Солдат потёр чисто выбритый подбородок и нерешительно ответил:

– Не знаю. Не приходилось мне думать об этом...

Тогда Матвей сказал о нищих то, что хотелось, но Пушкарь, наморщив лоб, ответил:

– Нет, ты перемогись! Обычай надо исполнить. Нехорошо?

Юноша съёжился, ему стало неловко перед солдатом и жаль сказанного.

Зашёл к Палаге, она была в памяти, только ноги у неё совсем отнялись.

– Некрасивая, чай, стала? – виновато спросила она.

– Красивая... ещё лучше...

За сутки она истаяла страшно: нос обострился, жёлтые щёки опали, обнажив широкие кости скул, тёмные губы нехорошо растянулись, приклеившись к зубам.

– Родимый, – шелестел её голос, – ах, останешься ты один круглым сиротиной на земле!

Уж ты держись за Пушкарёва-то, Христа ради, – он хошь слободской, да свят человек! И не знаю лучше его... Ох, поговорить бы мне с ним про тебя... коротенькую минутку бы...

Он был рад предложению уйти от неё и ушёл, сказав, что пришлёт солдата.

А послав его к Палаге, забрался в баню, влез там на полочку, в тёмный угол, в сырой запах гниющего дерева и распаренного листа берёзы. Баню не топили всего с неделю времени, а пауки уже заткали серыми сетями всё окно, развесили петли свои по углам. Кожемякин смотрел на их работу и чувствовал, что его сердце так же крепко оплетено нитями немых дум.

Слышал, как Власьевна и Наталья звали его, слышал густое урчание многих голосов на дворе, оно напоминало ему жирные пятна в ушате с помоями. Хотелось выйти на пустырь, лечь в бурьян вверх лицом и смотреть на быстрый бег сизых туч, предвестниц осени, рождённых Ляховским болотом. Когда на дворе стало тихо и сгустившийся в бане сумрак возвестил приближение вечера, он слез с полка, вышел в сад и увидел Пушкаря, на скамье под яблоней: солдат, вытянув длинные ноги, упираясь руками в колени, громко икал, наклоня голову.

– Н-на, ты-таки сбежал от нищей-то братии! – заговорил он, прищурился глазами. Пренебрёг? А Палага – меня не обманешь, нет! – не жилица, – забил её, бес... покойник! Он всё понимал, – как собака, примерно. Редкий он был! Он-то? Упокой, господи, душу эту! Главное ему, чтобы – баба! Я, брат, старый петух, завёл себе тоже курочку, а он – покажи! Показал. Раз, два и – готово!

Матвей дотронулся до него и убедительно попросил:

– Давай, схороним её хорошенько, – без людей как-нибудь!

– Палагу? – воскликнул солдат, снова прищурился глазами. – Мы её само-лучше схороним!

Рядышком с ним...

– Не надо бы рядом-то...

– Рядом! – орал солдат, очерчивая рукою широкий круг. – Пускай она его догонит на кругах загробных, вместе встанет с ним пред господом! Он ему задаст, красному бесу!..

– Не ругайся, нехорошо! – сказал Матвей.

Солдат посмотрел на него, покачал головой и пробормотал:

– Вя-вя-вя – вякают все, будто умные, а сами – дураки! Ну вас к бесам!

Пьянея всё более, он качался, и казалось, что вот сейчас ткнётся головой в землю и сломаёт свою тонкую шею. Но он вдруг легко и сразу поднял ноги, поглядел на них, засмеялся, положил на скамью и, вытянувшись, сказал:

Боле ничего...

«С ним жить мне!» – подумал юноша, оглядываясь.

К вечеру Палага лишилась памяти и на пятые сутки после похорон старика Кожемякина тихонько умерла.

Матвей уговорил солдата хоронить её без поминок. Пушкарь долго не соглашался на это, наконец уступил, послав в тюрьму три пуда мяса, три – кренделей и триста яиц.

Зарыли её, как хотелось Матвею, далеко от могилы старого Кожемякина, в пустынном углу кладбища, около ограды, где густо росла жимолость, побегушка и тёмно-зелёный лопух. На девятый день Матвей сам выкосил вокруг могилы сорные травы, вырубил цепкие кусты и посадил на расчищенном месте пять молодых берёз: две в головах, за крестом, по одной с боков могилы и одну в ногах.

– Ну, брат, – говорил солдат Матвею ласково и строго, – вот и ты полный командир своей судьбы! Гляди в оба! Вот, примерно, новый дворник у нас, – эй, Шакир!

Откуда-то из-за угла степенно вышел молодой татарин, снял с головы подбитую лисьим мехом шапку, оскалил зубы и молча поклонился.

– Вот он, бес! – кричал солдат, одобрительно хлопая татарина по спине и повёртывая его перед хозяином, точно нового коня. – Литой. Чугунный. Ого-го!

Дворник ловко вертелся под его толчками, не сводя с Матвея серых, косо поставленных глаз, и посмеивался добродушным, умным смешком. В синей посконной рубахе ниже колен, белом фартуке, в чистых онучах и новых лаптях, в лиловой тюбетейке на круглой бритой голове, он вызывал впечатление чего-то нового, прочного и чистого. Его глаза смотрели серьёзно и весело, скуластое лицо красиво удлинялось тёмной рамой мягких волос, они росли от ушей к подбородку и соединялись на нём в курчавую, раздвоенную бороду, открывая твёрдо очерченные губы с подстриженными усами.

– Бульна хороша солдат! – говорил он, подмигивая на Пушкаря.

Матвей смущённо усмехался, не зная, что сказать. Но Шакир, видимо, поняв его смущение, протянул руку, говоря:

– Давай рука, хозяин! Будем довольна, ты – мне, я – тибяй...

И, вдруг облапив Пушкаря, поднял его на воздух и куда-то понёс, крича:

– Айда, абзей! Кажи – какой доска? Кажи шерхебель, всю хурда-мурда кажи своя!

Матвей засмеялся, легко вздохнул и пошёл в город.

При жизни отца он много думал о городе и, обижаясь, что его не пускают на улицу, представлял себе городскую жизнь полной каких-то тайных соблазнов и весёлых затей. И хотя отец внушил ему своё недоверчивое отношение к людям, но это чувство неглубоко легло в душу юноши и не ослабило его интереса к жизни города. Он ходил по улицам, зорко и дружелюбно наблюдая за всем, что ставила на пути его окурковская жизнь.

Бросилось в глаза, что в Окурове все живут не спеша, ходят вразвалку, вальяжно, при встречах останавливаются и подолгу, добродушно беседуют.

Выйдя из ворот, он видит: впереди, домов за десяток, на пустынной улице стоят две женщины, одна – с вёдрами воды на плечах, другая – с узлом подмышкой; поравнявшись с ними, он слышит их мирную беседу: баба с вёдрами, изгибая шею, переводит коромысло с плеча на плечо и, вздохнув, говорит:

– Вот уж опять – четверг.

– Бежит время-то, милая!

– Через день и тесто ставить...

– С чем печёшь?

– По времени-то с капустой надо, а либо с морковью, да мой-от не любит...

Они косятся на Кожемякина, и баба с узлом говорит:

– А сходи-ка ты, мать моя, ко Хряповым, у них, чу, бычка зарезали, не продадут ли тебе ливер. Больно я до пирогов с ливером охотница!

Баба с вёдрами, не сводя глаз с прохожего, отвечает медленно, думая как бы о другом о чём-то:

– Хряповы – они и детей родных продадут, люди беззаветные, а бычок-от у них чахлый был, оттого, видно, и прирезали...

Сдвинувшись ближе, они беседуют шёпотом, осенённые пёстрою гривую осенней листвы, поднявшейся над забором. С крыши скудно смотрит на них одним глазом толстая ворона; в пыли дорожной хозяйственно возятся куры; переваливаясь с боку на бок, лениво ходят жирные голуби и поглядывают в подворотни – не притаилась ли там кошка? Чувствуя, что речь идёт о нём, Матвей Кожемякин невольно ускоряет шаги и, дойдя до конца улицы, всё ещё видит женщин, покачивая головами, они смотрят вслед ему.

Тихо плывёт воз сена, от него пахнет прелью; усталая лошадь идёт нога за ногу, голова её понуро опущена, умные глаза внимательно глядят на дорогу, густо засеянную говьяжкими костями, яичной скорлупой, перьями лука и обрывками грязных тряпок.

Межколёсица щедро оплескана помоями, усеяна сорьём, тут валяются все остатки окурвской жизни, только ключья бумаги – редки, и когда ветер гонит по улице белый измятый листок, воробьи, галки и куры пугаются, – непривычен им этот куда-то бегущий, странный предмет. Идёт унылый пёс, из подворотни вылез другой, они не торопясь обнюхиваются, и один уходит дальше, а другой сел у ворот и, вздёрнув голову к небу, тихонько завыл.

На сизой каланче мотается фигура доглядчика в розовой рубаше без пояса, слышно, как он, позёвывая, мычит, а высоко в небе над каланчой реет коршун – падает на землю голодный клёкот. Звенят стрижи, в поле играет на свирели дурашливый пастух Никодим. В монастыре благовестят к вечерней службе – из ворот домов, согнувшись, выходят серые старушки, крестятся и, качаясь, идут вдоль заборов.

Кажется, что вся эта тихая жизнь нарисована на земле линючими, тающими красками и ещё недостаточно воодушевлена, не хочет двигаться решительно и быстро, не умеет смеяться, не знает никаких весёлых слов и не чувствует радости жить в прозрачном воздухе осени, под ясным небом, на земле, богато вышитой шёлковыми травами.

На Стрелецкой жили и встречались первые люди города: Сухобаевы, Толоконниковы, братья Хряповы, Маклаковы, первые бойцы и гуляки Шихана; высокий, кудрявый дед Базунов, – они осматривали молодого Кожемякина недружелюбно, едва отвечая на его поклоны. И ходили по узким улицам ещё вальжнее, чем все остальные горожане, говорили громко, властно, а по праздникам, сидя в палисадниках или у ворот на лавочках, перекидывались речами через улицу.

– У меня – бардадын, фалька и осьмёрка козырей...

– Н-ну? Подтасовал?

– А у него, лешего, хлюст козырей: туз, король, валет.

– Подтасовал!

– Стало быть – у меня двадцать девять с половиной, в у него тридцать один...

В другом месте кричали:

– Василь Петров, ты давеча за что Мишку порол?

– Хвост кошке насолил сапожным варом, бесёныш!

Хохочут.

В праздничные вечера в домах и в палисадниках шипели самовары, и, тесно окружая столы, нарядно одетые семьи солидных людей пили чай со свежим вареньем, с молодым мёдом. Весело побрякивали оловянные ложки, пели птицы на косяках окон, шумел неторопливый говор, плавал запах горящих углей, жирных пирогов, помады, лампадного масла и дёгтя, а в сетях бузины и акации мелькали, любопытно поглядывая на улицу, бойкие глаза девиц.

– Иду я вчера от всенощной, – медленно течёт праздничная речь, – а на площади лежит пожарный этот, в самой-то грязи...

– То-то не пел он вчера!

– Лежит это он растёрзанный, срамный весь, – Лизавета, отойди-ка в сторонку...

А отцы семейств ведут разговоры солидные:

– Как прекратили откупа, куда больше стал мужик пить.

Старый красавец Базунов, сидя на лавке у ворот, плавную искусною речью говорит о новых временах:

– Понаделали денег неведомо сколь, и стали оттого деньги дешёвы! Бывало-то, фунт мяса – полушка шёл, а теперь, на-ко, выложи алтын серебра!

Базунов славен в городе, как знаток старины, и знаменит своим умением строить речь во всех ладах: под сказку, по-житийному и под стих.

Говорят о божественном, ругают потихоньку чиновников, рассказывают друг другу дневные и ночные сны.

– Лёг я вчера после обеда вздремнуть, и – навалился на меня дедушка...

– А я, сударь мой, сёдни ночью такое видел, что не знаю, чему и приписать: иду будто мимо храма какого-то белого и хотел снять шапку, да вместе с ней и сними голову с плеч! Стою это, держу голову в руках и не знаю – чего делать мне?

По дороге храбро прыгают лощёные галки, не боясь человеческих голосов, влетают на заборы и кричат о чём-то. Далеко в поле бьёт коростель, в слободе играют на гармонике, где-то плачет ребёнок, идёт пьяный слесарь Коптев, шаркая плечом о заборы, горестно всхлипывает и бормочет:

– Ну, вино-оват! Натё, винова-ат я! Натё, бейте, – потрудитесь!

На западе красно горит окуривское солнце, лишённое лучей.

Медленно проходя мимо этой мирной жизни, молодой Кожемякин ощущал зависть к её тихому течению, ему хотелось подойти к людям, сидеть за столом с ними и слушать обстоятельные речи, – речи, в которых всегда так много отмечалось подробностей, что трудно было поймать их общий смысл.

Но как-то раз, когда он задумчиво шагал мимо палисадника Маклаковых, к решётке прильнуло девичье лицо с чёрными глазами, и прямо в ухо прожужжали два слова:

– Мачехин муж – у-у!

Он вздрогнул, – девица показала ему язык и исчезла. В другой раз кто-то весело крикнул из окна:

– Припадочный идёт!

«Это почему же? – удивился Матвей и, добросовестно подумав, вспомнил свой обморок. Всё знают!»

Он не обижался, но, удивляясь недружелюбному отношению, невольно задумывался.

Однажды за окнами базуновского дома он услышал такие речи:

– Опять Савёлки Кожемякина сын шагает...

– Чего это он ходит?

– Пускай. У нас и свиньи невозбранно по улице гуляют...

– Ох, не люблю я ходебщиков этих! Да ещё такой...

Матвей не пожелал слышать, какой он.

В этой улице его смущал больше всех исправник: в праздники он с полудня до вечера сидел у окна, курил трубку на длиннейшем чубуке, грозно отхаркивался и плевал за окно. Борода у него была обрита, от висков к усам росли седые баки, – сливаясь с жёлтыми волосами усов, они делали лицо исправника похожим на собачье. Матвей снимал картуз и почтительно кланялся.

– Арр-тьфу! – отвечал исправник.

На Поречной гуляли попы, чиновники и пышно разодетые дамы; там молодого парня тоже встречал слишком острый интерес к его особе.

– Ах какой! – воскликнула однажды немолодая дама в розовом платье и зелёной шляпке с перьями и цветами. Господин в серой шляпе и клетчатых брюках громко сказал:

– Хотите поцеловать? От него луком пахнет.

– Ах, насмешник!

– Он толокно ест с конопляным маслом.

И клетчатый человек стал кричать, постукивая тростью о забор:

– Эй, парень! Поддёвка! Эй...

Кожемякин торопливо повернул на пустырь, где строили собор, и спрятался в грудях кирпича, испуганный и обиженный.

Ему захотелось отличить себя от горожан, возвыситься в их глазах – он начал носить щегольские сапоги, велел перешить на себя нарядные рубахи отца. И однажды, идя от обедни, услышал насмешливый девичий возглас:

– Мамочки, как выпялился!

– Ровно пырин, – пояснила другая девица.

Ему казалось, что все окна домов смотрят на него насмешливо, все человечьи глаза подозрительно и хмуро. Иногда короткою искрою мелькал более мягкий взгляд, это бывало редко, и он заметил, что дружелюбно смотрят только глаза старух.

Он полюбил ходить на Петухову горку – это было приятное место: маленькие домики, дружно связанные плетнями, стоят смиренно и смотрят задумчиво в тихое поле, на холмы, весною позолоченные цветами лютиков и одуванчиков, летом – буро-зелёные, словно они покрыты старинным, выцветшим штофом, а в тусклые дни долгой зимы – серебристо-белые, приветно мягкие. Там, далеко за холмами, стоит синяя стена Чёрной Рамени, упираясь вершинами мачтовых сосен в мякоть серых туч. В поле весело играют ребятишки, со дворов несутся гулкие звуки работы бондарей.

Здесь он нашёл недруга в лице сапожника Сетунова: сидя под окнами или на завалинке своей ветхой избы, с красными облупленными ставнями в один створ, сапожник сучил дратву, стучал молотком, загоняя в каблуки вершковыи гвозди, кашлял, хрипел и всех прохожих встречал и провожал прибаутками. Сам он был человек измятый, изжёванный, а домишко его с косыми окнами, провисшей крышей и красными пятнами ставен, казалось, только что выско-чил из жестокой драки и отдыхает, сидя на земле. Ещё издали заметив нарядно одетого парня, сапожник складывал руки на груди и начинал пронзительно свистеть, якобы отдыхая и любу-ясь синими далями, а когда Матвей равнялся с ним, он испуганно вскакивал на ноги, низко кланялся и нарочито тонким голосом говорил:

– Ах, простите, извините, не звоните...

Или любезно спрашивал:

– Чего кочет хочет, о чём он хлопочет?

Это смешило Матвея, но скоро словечки Сетунова стали вызывать у него смутное ощу-щение неловкости перед чахлым человеком.

– Опять пошёл Савось на авось! – сказал однажды сапожник.

«Верно ведь! – подумал Кожемякин. – Что я хожу?»

И ушёл на кладбище посмотреть, целы ли берёзы над могилой Палаги. Две из них через несколько дней после посадки кто-то сломал, а одну выдрал с корнем и утащил. Матвей поса-дил новые деревья, прибавив к ним молодую сосну, обнёс могилу широкой оградой и поставил в ней скамью.

Всё чаще заходил он в этот тихий уголок, закрытый кустами бузины, боярышника и заросший лопухом, и, сидя там, вспоминал всё, что видел на улицах города. Вокруг него в кустах шумели воробьи, качались красные гроздья ягод, тихо осыпался жёлтый лист, иногда прилетала суетливая стайка щеглят клевать вкусные зёрна репья. Хорошо было сидеть тут, глядя, как большое красное солнце важно опускается в болото, щедро обливая тёмно-синюю щетину ельника золотом и багрецом. Ярко рдеет белесое окуровское небо; огромные комья сизых туч разорваны огненными ручьями жёлтых и пурпуровых красок, в густом дыме вспыхи-вает и гаснет кровавое пламя, струится, сверкает расплавленное золото. Живая ткань облаков рождает чудовищ, лучи солнца вонзаются в их мохнатые тела подобно окровавленным мечам; вот встал в небесах тёмный исполин, протягивая к земле красные руки, а на него обрушилась снежно-белая гора, и он безмолвно погиб; тяжело изгибая тучное тело, возникает в облаках синий змий и тонет, сгорает в реке пламени; выросли сумрачные горы, поглощая свет и бро-сив на холмы тяжкие тени; вспыхнул в облаках чей-то огненный перст и любовно указывает на скудную землю, точно говоря:

«Пожалей. Полюби».

Живёт в небесах запада чудесная огненная сказка о борьбе и победе, горит яркий бой света и тьмы, а на востоке, за Окуровом, холмы, окованные чёрною цепью леса, холодны и темны, изрезали их стальные изгибы и петли реки Путаницы, курится над нею лиловый туман осени, на город идут серые тени, он сжимается в их тесном кольце, становясь как будто всё меньше, испуганно молчит, затаив дыхание, и – вот он словно стёрт с земли, сброшен в омут холодной жуткой тьмы.

Смотрел юноша, как хвастается осень богатствами своих красок, и думал о жизни, мечтал встретить какого-то умного, сердечного человека, похожего на дьячка Коренева, и каждый вечер откровенно, не скрывая ни одной мысли, говорить с ним о людях, об отце, Палаге и о себе самом.

«И пусть бы у этого человека дочь была, а он выдал бы её замуж за меня», – думал юноша.

Он начал засматриваться на девушек. Это было сразу замечено, и городские женихи не однажды обидно и зло смеялись над ним. Почти каждый раз, когда он выходил в поле, где молодёжь играла в лапту, горелки и шар-мазло, его награждали насмешливыми советами:

– Эй, ты! Не свихни глаз-то, а то поправлять их мне придётся!

– Ты бы, парень, сначала у Сомихи побывал.

– На что ему? Он учёный!

От Пушкаря и рабочих Матвей знал, что Сомиха, пожилая, грязная и толстая баба, учит городскую молодёжь делам любви за косушку водки и фунт кренделей.

Мальчишки кричали ему:

– Вдовец! Мачехин муж...

Бледнея и смущённо улыбаясь, он молча уходил прочь и думал без обиды, но с великим удивлением:

«Вам-то что? Если я виноват – так против отца, против бога, – а вы-то что?»

Он не отвечал на обиды и насмешки и не заметил, что его скромность, смущённые улыбки, бесцельная ходьба по городу и неумение подойти к людям, познакомиться с ними вызывают у них то снисходительное, небрежное отношение к нему, которое падает на долю идиотов, убогих и юродивых.

А в нём незаметно, но всё настойчивее, укреплялось желание понять эти мирные дни, полные ленивой скуки и необъяснимой жестокости, тоже как будто насквозь пропитанной тоскою о чём-то. Ему казалось, что, если всё, что он видит и слышит, разложить в каком-то особом порядке, разобрать и внимательно обдумать, – найдётся доброе объяснение и оправдание всему недоброму, должно родиться в душе некое ёмкое слово, которое сразу и объяснит ему людей и соединит его с ними.

Приходилось разбираться в явлениях почти кошмарных. Вот рано утром он стоит на постройке у собора и видит – каменщики бросили в творило извести чёрную собаку. Известь только ещё гасится, она кипит и булькает, собака горит, ей уже выжгло глаза, захлёбываясь, она взвизгивает, судорожно старается выплыть, а рабочие, стоя вокруг творила в белом пару и пыли, смеются и длинными мешалками стучают по голове собаки, погружая искажённую морду в густую, жгучую, молочно-белую массу.

– Почто вы её? – спросил он.

Молодой малый, с круглым румяным лицом и опудренными известью усами, ответил вопросом:

– Твоя, что ли?

– Нет.

– Так это мы, – сказал парень, добродушно ухмыляясь, – смешно больно положится она!

А другой рабочий объяснил:

– Бегала она тут, – бегают, значит, ну – животная всё-таки глупая – сорвалась! Мы было хотели вытащить её, да куда она? Ослепла, чай. Пускай уж...

Матвей, наклонив голову, сконфуженно отошёл прочь: он видел, что именно этот человек, русский и курносый, подманил собаку, приласкал её и сшиб в творило пинком ноги, крикнув товарищам:

– Топи её!

Вот посреди улицы, перебирая короткими ногами и широко разгоняя грязь, бежит – точно бочка катится – юродствующий чиновник Черноласкин, а за ним шумной стаей молодых собачонок, с гиком и свистом, мчатся мальчишки, забегают вперёд и, хватая грязь, швыряют ею в дряблые, дрожащие щёки чиновника, стараясь попасть в его затравленные, бессильно злые глаза. Он уже весь обрызган, грязь течёт у него по животу, который безобразно свисает до колен, человек прыгает по лужам, открыв круглый, как у сома, рот, и одной рукой машет перед лицом, защищая глаза, а другой подхватывает снизу живот свой, точно боясь потерять его. Его коротенькое тело неизъяснимо быстро вертится во все стороны, он устал, из маленьких глаз текут грязные слёзы.

Мальчишки прыгают вокруг него и хором кричат, взмахивая руками:

– Петька Черноласкин, бритая губа! Соль воровал, жену барам продавал! Кабацкая затычка, острожный клоп!

Из окон домов высунулись какие-то однообразно мутные лица, слышен одобрительный говорок:

– Уж эти ребяташки, гляди-тко, опять чиновника опевают...

– За что вы его? – спрашивает Матвей кудрявого мальчугана с пёстрым от веснушек лицом, и запыхавшийся человек удало отвечает:

– От самого от монастыря гоним!

– За что?

– Та-ак!

– Ты бы его пожалел! – тихонько и оглядываясь советует Кожемякин. – Гляди, как он устал...

– Я сам устал! – правдиво отвечает юный гонитель, отирая потное лицо рукавом рубахи.

Мальчик постарше, с маленькими, точно у мышонка, ушами и острым носом, говорит, нахмураясь:

– Кабы он настоящий юрод был – тогда надо пожалеть...

Ещё два-три голоса спешно объясняют:

– Алёшу мы не трогаем...

– Мы только его да Собачью Матку...

Остроносый мальчик отодвинулся в сторону, приложил локти к бокам и спросил:

– Ты Кожемякин будешь? Мачехин муж?

И стремглав бросился прочь.

На углу Напольной стоит двухэтажный обгоревший дом. Сгорел он, видимо, уже давно: дожди и снега почти смыли уголь с его брёвен, только в щелях да в пазах остались, как сгнившие зубы, чёрные, отшлифованные ветром куски и, словно бороды, болтаются седые ключья пакли.

Сквозь пустые окна верхнего этажа видно небо, внутри дома хаотически торчат обугленные стропила, балки, искалеченные колоды дверей; на гниющем дереве зелёные пятна плесени, в мусоре густо разросся бурьян, из окон сонно кивает чернобыльник, крапива и пырей. С одной стороны дома – сад, в нём обгоревшие вётлы, с другой – двор, с проваленными крышами построек.

В солнечные дни тусклый блеск угля в пазах испещряет дом чёрными гримасами, в дожди по гладким брёвнам обильно текут ржавые, рыжие слёзы. Окна нижнего этажа наглухо забиты

досками, сквозь щели угрюмо сверкают радужные стёкла, за стёклами – густая тьма, и в ней живёт Собачья Матка.

Высокая, прямая и плотная, она ходила по городу босиком, повязывая голову и плечи тёплой серой шалью, лохмотья кофты и юбок облекали её тело плотно и ловко, как сосну кора. Из-под шали, приспущенной на лоб и закрывавшей подбородок, сердито смотрели круглые совиные глаза и неподвижно торчал большой, словно железный, нос. Она шагала твёрдо и отмеривала пройденный путь широкими взмахами толстой ореховой палки, стучала под окнами властной рукою и, когда обыватель высовывал голову, говорила ему сиплым, неприятным голосом:

– Милостыню подай!

За нею всегда бежала стая собак; старые солидные дворняги с вытертой шерстью и седым волосом на равнодушных мордах, унылые псы с поджатыми хвостами в репьях и комьях грязи, видимо уже потерявшие уважение к себе; бежали поджарые сучки, суетливо тыкая всюду любопытные носы и осматривая каждый угол хитрым взглядом раскосых глаз, катились несокрушимо весёлые щенята, высунув розовые языки и удивлённо вытаращив наивные глаза. Все они были дружно объединены тем чувством независимости от людей, которое всегда наиболее свойственно паразитам, все жили и ходили по миру всегда вместе со своей кормилицей, и часто она отдавала им милостыню тут же, на глазах милосердного обывателя.

Её – боялись; говорили, что она знакома с нечистой силой, что ей послушны домовые, стоит захотеть ей, и корова потеряет удои, лошадь начнёт гонять по ночам дедушка, а куры забьют себе зоба. Предполагалось, что она может и на людей пускать по ветру килы, лихорадки, чёрную немочь, сухоту.

Милостыню ей давали обильно и молча, не изъясняя, для какой цели дают, если же кто-нибудь по забывчивости говорил: «Прими Христа ради за упокой раба...» – Собачья Матка глухо ворчала:

– Больно нужно...

И – бросала кусок своим собакам.

Её история была знакома Матвею: он слышал, как Власьевна рассказывала Палаге, что давно когда-то один из господ Воеводининых привёз её, Собачью Матку, – барышню – в Окуров, купил дом ей и некоторое время жил с нею, а потом бросил. Оставшись одна, девушка служила развлечением уездных чиновников, потом заболела, состарилась и вот выдумала сама себе наказание за грехи: до конца дней жить со псами.

Матвей помнил, как Палага задумчиво и тихонько спросила:

– А может, это она оттого, что уж очень обрыдли люди-то ей?

– Что ты это, мать моя, чай, людей-то бог сотворил!

– А её? – спросила Палага, подумав.

– Кого?

– Эту, барышню-то?

Власьевна начала поучительно объяснять Палаге разницу между собаками, людьми и Собачьей Маткой, а Матвей, слушая, ещё лишний раз вспомнил брезгливо оттопыренную губу отца.

Мальчишки следили за Собачьей Маткой, издали лукавая камнями в её свиту, но где-нибудь в глухом тупике, на пустыре, за углом, вдруг окружали её, крича:

– Собачья Мать, покажи пачпорт! Покажь пачпорт, Собачья Мать...

Она останавливалась и, высоко вздёрунув юбку, показывала им жёлтые ноги, мохнатый живот и глухо, в такт их крикам, говорила три слова:

– Вот – вам – пачпорт!

Ребятишки визжали, хохотали, кидая в неё камнями и грязью, а она повёртывалась к ним лицом и, не мигая совиными глазами, повторяла:

– Вот – вам – пачпорт!

Иногда взрослые, видя это, стыдили ребят:

– Что? Видели? Так вас и надо, охальники!

Когда она бесстыдно и зло обнажалась, Кожемякин в тоске и страхе закрывал глаза: ему казалось, что все мальчишки и собаки были выношены в этом серо-жёлтом, мохнатом животе, похожем на унылые древние холмы вокруг города.

Изо дня в день он встречал на улицах Алёшу, в длинной, холщовой рубахе, с раскрытой грудью и большим медным крестом на ней. Наклоня тонкое тело и вытянув вперёд сухую чёрную шею, юродивый поспешно обегал улицы, держась правой рукою за пояс, а между пальцами левой неустанно крутя чурочку, оглаженную до блеска, – казалось, что он преследует нечто невидимое никому и постоянно ускользающее от него. Тонкие, слабые ноги чётко топали по доскам тротуаров, и сухой язык бормотал:

– Пыр Растопыр, берегись, божий мир...

Взрослые, уступая ему дорогу, крестились, а мальчишки, натываясь на него, пугливо отскакивали в сторону, если же он шёл на них – молча разбегались. И даже храбрый будочник Анкудин Черемис, единолично избивавший сразу несколько человек мастеровых, когда они буянили или колотили жён, играли в орлянку или когда ему было скучно, – даже Анкудин сторонился Алёши и, тревожно мигая косыми глазами, прятал кулаки за спину.

...В базарные дни Кожемякин ходил по Торговой площади, прислушиваясь к спорам горожан с деревенскими. Мужики были коренастые, бородатые, точно пеня, обросшие мохом; мещанство рядом с ними казалось мелким и суетливым, подобно крысам у конуры цепного пса. Большинство мещан не скрывало своего пренебрежения к деревенским, и лишь немногие разговаривали с ними притворно ласково. Часто говорилось:

– На погибель вашу воля дана вам, обломы!

– Почём репа? – спрашивал Базунов.

– Алтын мера.

– Ты сам – некоторое время назад – со всей семьёй, с отцом-матерью, за алтын продавался, да не куплен остался!

– Ах, уж этот Еремей Петров! – хохотали мещане. А старуха Хряпова, торгуя липовую опарницу, отчитывает мужика на весь базар:

– Побойся бога-то, чай, крещёный ты, а грабителем выступаешь! Гривенник – понимаешь ли ты слово-то – гривенник, а?

Все горожане возмущались жадностью мужиков, много говорили о том, что воля всё больше портит их, обращаясь к старым крестьянам, часто называли их снохачами; в воздухе, точно летучие мыши, трепетали бранные, ехидные слова, и пёстрые краски базара словно линяли в едком тумане общего раздражения.

В начале базара крестьяне держались тихо, почти не отвечая на ругательства, лицемерные ласки и насмешки горожан; они скучно и лениво поглядывали вокруг, будто ожидая иных людей, другого отношения.

Но, сбегав раза два в трактир, и мужики становились бойчее, на ругань отвечали руганью, на шутки – шутками; к полудню почти все они были выпивши, и споры их с покупателями нередко разрешались боем. Являлся базарный староста Леснов, приходил Анкудин и другой будочник – Мохоедов; пьяных и буянов отправляли в пожарную. Солидные люди, внушительно крикая, говорили мужикам:

– У нас – немного навоюешь: здесь город, а не лес!

Матвея поражало обилие позорных слов в речах людей, поражала лёгкость, с которой люди старались обидеть друг друга, и малая восприимчивость их к этим обидам. Ему казалось, что весь воздух базара пропитан сухой злостью, все пьянеют от неё и острого недоверия друг к другу, все полны страха быть обманутыми и каждый хочет обмануть – словно здесь,

на маленькой площади, между пожарной каланчой и церковною колокольнею, в полукруге низеньких торговых рядов, сошлись чуждые друг другу, враждебные племена. Между ними, точно черви, ползают нищие, одинаково равнодушные и прилипчивые ко всем; в шуме торгового крика лицемерными змейками извиваются мольбы:

– Благодетели и кормильцы...

В горячем волнении спора и брани часто раздаётся имя Христа, – оно звучит бездушно, как привычное слово, смысл которого всеми забыт.

У лавок с красным товаром на земле сидят слепцы – три пыльные фигуры; их мёртвые лица словно вырублены из пористого камня, беззубые рты, шамкая, выговаривают унылые слова:

Ой, истомились наши костыньки,
А и пора бы-ть нам в могилки лечь,
А грехи-те не пушают нас...

Молодой скуластый Пётр Толоконников щиплет рыжий волос на верхней губе и говорит басом:

– Смерти просят, а гроши всё собирают!

Вася Хряпов, похожий на хорька, пристально смотрит в лица слепых, соображая вслух:

– Чай, поди, обманывают?

Тогда длинный, неуклюжий Маклаков, торговец иконами, посудой и гармониями, предлагает:

– А ты кинь им в зенки-то пыли горсть!

Вася подкрался и осыпал лица слепцов серой дорожной пылью. Они перестали петь и, должно быть, не впервые испытывая такую пробу их зрения, начали спокойно и аккуратно вытирать каменные лица сухими ладонями сморщенных рук.

Старик Хряпов трясёт сына за волосы, приговаривая:

– Не дури, не озорничай, не безобразь!

А Толоконников, подмигивая Маклакову, говорит:

– Нисколько жалости нет у Василия этого!

Эти трое – первейшие забавники на базаре: они ловили собак, навязывали им на хвосты разбитые железные вёдра и смотрели, смеясь, как испуганное животное с громом и треском мечется по площади, лая и визжа. В сырые дни натирали доски тротуара мылом, любясь, как прохожий, ступив в натёртое место, скользил и падал; связывали узелки и тюрички, наполняя их всякою дрянью, бросали на дорогу, – их веселило, когда кто-нибудь поднимал потерянную попку и пачкал ею руки и одежду.

Они любили вырывать с корнями молодые деревья, омывать скамьи у ворот, разбивать скворешни меткими ударами камней, бросать в дома обывателей через окна тухлые яйца.

И не только этим трём нравились подобные забавы – Матвей знал, что вся городская молодёжь болеет страстью к разрушению. Весною обламывали сирень, акацию и ветви цветущих яблонь; попевала вишня, малина, овощи – начиналось опустошение садов, оно шло всё лето, вплоть до второго спаса, когда хозяева снимали с обломанных деревьев остатки яблок, проклиная озорников и забыв, что в юности они сами делали то же.

Каждый день, в хлопотливой суете утра, в жаркой тишине полудня, в тихом шуме вечера, раздавался визг и плач – это били детей. Им давали таски, потасовки, трёпки, выволочки, подзатыльники, плюхи и шлепки, секли берёзовыми прутьями, пороли ремнями. Кожемякин, не испытывавший ничего подобного, вспоминал отца с тёплой благодарностью и чувством уважения к нему.

Избитые мальчишки смеялись друг над другом и тоже дрались; в них не заметно было жалости к животным; осенью, во время перелёта, они ловили множество певчих птиц и зря мучили их в тесных, грязных клетках; весной ставили пичужкам силки из конского волоса; попадая в тонкую, крепкую петлю, птица билась, ломала себе ноги и часто умирала, истерзанная.

Дети, как и взрослые, производили впечатление людей, которые поселились в этом месте временно, – они ничего не любят тут, им ничего не жалко. Город был застроен тесно, но было много пустырей; почти везде на дворах густо росли сорные травы, ветер заносил в огороды их семена, гряды овощей приходилось полоть по два, по три раза; все плодовые деревья в садах были покрыты лишаями, росли коряво, медленно и давали плохой урожай.

Но всего более угнетало Кожемякина отношение окуровцев к женщине, оно с печальной ясностью обличало в тёмных душах людей присутствие чего-то страшного, что – он чувствовал незаметно прилеплялось и к его душе грязным, ядовитым пятном, вызывая соблазнительные, тревожные мысли и стыдное, болезненное напряжение в теле. Наблюдая за играми молодёжи в поле, около монастырской ограды, он видел, что даже подростки любят обижать девиц: щиплют их, колотят, бросают в косы репы; во время игры в горелки стараются загнать девиц к самой ограде, где густо и высоко разрослась крапива, и там повалить их в жгучую заросль. Слезы обиженных девушек почти всегда вызывали довольные усмешки парней, и во всех играх ясно сквозило желание причинить боль, грубо подчеркнуть превосходство мужской силы.

Последнее особенно резко бросалось в глаза. Кожемякин сначала оправдывал дикие выходки окуровских женихов. Видя, как они петухами ходят около девиц, плюют на подолы им скорлупую семян и орехов, как толкаются локтями, стараясь задеть по грудям, Матвей, внутренне усмехаясь, не без зависти думал:

«Это они развязность свою показывают...»

Женщины с великою страстью, с поражающим и словно больным озлоблением ссорились между собою: сёстры, невестки, соседки; свекрови колотили снох, матери – дочерей. Ругались на огородах, через заборы, стоя у ворот, на улице, на базаре, в церковной ограде. Куры, разрывшие грядки, собака, выпившая куриное яйцо, кошка, посетившая погреб, зависть к успеху дочери соседа у парней, ревность к мужу – вся жизнь выносилась на улицу в резких криках, в обидных словах и с яростным бесстыдством кликуш оплёвывалась желчью, обливалась грязью. Иногда юноше казалось, что над городом непрерывно дрожит болезненный и тоскливый вой:

«А-а-а...»

Почти каждый праздник, под вечер или ночью, где-нибудь в городе раздавался крик женщины, и не однажды Матвей видел, как вдоль улицы мчалась белая фигура, полуголая, с растрёпанными волосами. Вздрагивая, вспоминал, как Палага навивала на пальцы вырванные волосы...

Но самое страшное Матвей находил в дружеских беседах мужчин о женщинах: всё, что он слышал раньше от и рабочих и помимо воли уловил из бесстыдных разговоров отца с Пушкарём и Власьевной, – всё это теперь разлилось перед ним до размеров глубокой, грязной лужи, в которой тонула женщина, стыдно обнажённая и, точно пиявками, густо облепленная клейкими, пакостными словами.

Невыразимо грубое бесстыдство бесед о женщинах, окружая юношу душным, жарким облаком, угнетало его до отупения. Ему казалось иногда, что нагая женщина брошена среди улицы и по чреву её – чреву матери – тяжело топают грязными сапогами, растаптывая нерождённые жизни, попирая нерассказанные сказки. Он был уверен, что все женщины, кроме Власьевны, такие же простые, ласковые и радостно покорные ласкам, какою была Палага, так же полны жалости к людям, как полна была ею – по рассказам отца – его мать; они все казались ему матерями, добрыми сёстрами и невестами, которые ожидают жениха, как цветы солнца.

Но теперь он начинал чувствовать к ним жадное любопытство чужого человека, ничем не похожего на них. Раньше он стыдился слушать рассказы о хитрости женщин, о жадной их плоти, лживом уме, который всегда в плену тела их, а теперь он слушал всё это внимательно и молча; смотрел в землю, и пред ним из неё выступали очертания нагого тела.

Ночами, чувствуя, что в сердце его, уже отравленном, отгнивает что-то дорогое и хорошее, а тело горит в бурном вожделии, он бессильно плакал, – жалко и горько было сознавать, что каждый день не даёт, а отнимает что-то от души и становится в ней пусто, как в поле за городом.

Всюду чувствовалась жестокость. В мутном потоке будничной жизни – только она выступала яркими пятнами, неустраимо и резко лезла в глаза, заставляя юношу всё чаще и покорнее вспоминать брезгливые речи отца о людях города Окурова.

Та жизнь, о которой хвалебно и красочно говорил отец, обошла город, в котором человек, по имени Самсон, был горбат, плешив, кривонос и шил картузы из старых штанов.

И не раз Матвей печально думал:

«Лучше бы, как прежде, догадываться, чем – верно знать, как теперь знаешь!»

Дома тоже было тяжело: на место Власьевны Пушкарь взял огородницу Наталью, она принесла с собою какой-то особенный, всех раздражавший запах; рабочие ссорились, дрались и – травили Шакира: называли его свиным ухом, спрашивали, сколько у него осталось дома жён и верно ли, что они, по закону Магомета, должны брить волосы на теле.

Неистошимые в гнусных выдумках, они осыпали благообразного татарина гнилым хламом пакостных слов, а он серьёзно смотрел на них раскосыми глазами и, щёлкая языком, говорил, негромко, но убедительно:

– Ай-яй, нехоруша! Бульна нехоруша! На всем смеялся! Селовеком смеялся, Магоммедом смеялся, аллахом смеялся – чито булыша остался-та? Ай-яй, русска шалтай-балтай нехоруша язык!

Уши его, оттопыренные, точно ручки глиняного рукомоиника, краснели, серые умные глаза наливались влагою.

Пошли окурковские дожди, вытеснили воздух, завесили синие дали мокрыми туманами, побежали меж холмов холодные потоки, разрывая ямы в овраги, на улицах разлились мутные лужи, усеянные серыми пузырями, заплакали окна домов, почернели деревья, – захлебнулась земля водой. Город опустел, притих, мокрый, озябший, распухший от дождя; галки, вороны, воробьи – всё живое попряталось; звуки отсырели, растаяли, слышен был только жалобный плач дождя, и ночами казалось, что кто-то – большой, утомлённый, невидимый – безнадежно молит о помощи:

«Помоги. Пожалей...»

Однажды, тёмным вечером, Кожемякин вышел на двор и в сырой тишине услышал странный звук, подобный рыданиям женщины, когда она уже устала от рыданий. В то же время звук этот напоминал заунывные песни Шакира, – которые он всегда напевал за работой, а по праздникам сидя на лавке у ворот.

– Это ты, Шакир?

Звук оборвался, растаял. Из тьмы выдвинулась стройная фигура дворника, он подошёл к хозяину и, разведя руками, заговорил так, точно его душила чья-то тяжёлая рука.

– Бульна трудна, касяйн! Ахх, рука сам поднимает – бить хочет морда всякая – ур-сыгим ананны! Нету булыша – не можна терпеть моя! Давай рашет!

Он взбросил шапку на голову и, натягивая её обеими руками, залаял, топая ногою о землю:

– Аф-аф-аф...

Юноша стыдливо опустил голову, не находя слов утешения для человека, который был вдвое старше его и – плакал.

– Моя – терпел! – слышал он тяжёлые, ломаные слова. – Моя – молчал, нисява, думал-та, Шакирка! Зубам скрипил, Магоммед молил – вся делал-та! Давай рашет!

Сердце Матвея расширилось, согретое гневом, в глазах у него поплыли зелёные, дымно-светлые круги, он кашлянул и твёрдо сказал:

– Погоди, не уходи! Я их пугну, погоди...

Но голос у него сорвался, как у молодого петуха, и он крикнул:

– Ты бы их – по харям!

– Твоя – добра! – чмокнув губами, сказал Шакир. – Селовеком смеются – нисява, богум-та – нехоруша, ахх!

Придя в кухню к ужину, Матвей взглянул на осунувшееся, печальное лицо татарина и снова почувствовал в груди тяжёлый прибой злобы.

– Вы, – сказал он, вздрогнув, и первый раз, без стыда, с наслаждением выругался скверными словами. Все вытаращили на него глаза и как будто съёжились – это ободрило его.

Передохнув, он спокойно и веско сказал:

– Кто будет смеяться над Шакиром – расчёт!

Все молчали. Потом Пушкарь торжествующе протянул:

– Что-о, беси? Ага-а?

А молодой хозяин не решился сесть за стол с обруганными им людьми, ушёл в сад, уже раздетый холодными ветрами октября, и долго ходил по дорожкам, засыпанным листом.

Наступили холода, небо окуталось могучим слоем туч; непроницаемые, влажные, они скрыли луну, звёзды, погасили багровые закаты осеннего солнца. Ветер, летая над городом, качал деревья, выл в трубах, грозя близкими метелями, рвал звуки и то приносил обрывок слова, то чей-то неконченный крик.

Каждый час в затаённой тишине прильнувшего к земле города вздрагивал и ныл монастырский колокол; сторож у Николы дёргал верёвку, и она всегда заставляла дважды взвизгнуть лист железа на крыше колокольни.

Медь поёт робко и уныло, – точно кто-то заплутался в темноте и устало кричит, уже не веря, что его услышат. Разбуженные собаки дремотно тьякают, и снова город утопает в глубоком омуте сырой тишины.

Вечерами по праздникам в кухню являлся певчий Ключарев – родственник Натальи, как сказал Пушкарь, плюнув при этом.

Матвею нравилось сидеть в кухне за большим, чисто выскобленным столом; на одном конце стола Ключарев с татаринном играли в шашки, – от них веяло чем-то интересным и серьёзным, на другом солдат раскладывал свою книгу, новые большие счёты, подводя итоги работе недели; тут же сидела Наталья с шитьём в руках, она стала менее вертлявой, и в зелёных глазах её появилась добрая забота о чём-то. В трубе пел ветер, за печью шуршали тараканы, хозяйственно потрескивал мороз на дворе, щёлкали косточки счёт, Шакир мурлыкал песни, а Наталья дружески смеялась над ним.

Сначала Ключарев, видимо, стеснялся Матвея, вставал, сопел и, отводя в сторону большие, тяжёлые глаза, глубоким басом ворчал:

– Здравия желаю...

И всегда после этого приветствия откуда-то из-за угла, с полатей, откликалось недовольное, сомневающееся эхо:

– У-у-у...

Шакир шлёпал ладонью по скамье рядом с собою и говорил хозяину:

– Сядыс! Учис! Пожарна – ходы! Такой твой? Моя – суда, абзей!

И, подмигивая Матвею, легонько толкал его в бок.

Ключарев играл хуже татарина; он долго думал, опершись локтями на стол, запустив пальцы в чёрные, курчавые волосы на голове и глядя в середину шашечницы глазами неуловимого цвета. Шакир, подперев рукою щеку, тихонько, горловым звуком ныл:

Амди – кайдак – килаин?

Кунум – ночук – когаин?

Ключарев поднимал голову, молча смотрел на него и снова думал.

– Чего это ты поёшь, Шакир? – спрашивала Наталья, усмехаясь.

– Русским-та языкам будит: чего стану делать, как будит жить? – вот чего поём!

– Смешные у вас песни, у татар! – говорила Наталья, грустно вздохнув.

Матвей поглядывал на Ключарева, вспоминая, как страшно спокойно он пел, этот человек, идя за гробом отца и над могилой. Лицо певчего запоминалось с первого взгляда: треугольник, основанием которого служил большой, смуглый лоб, а вершиною искривлённый налево длинный нос. Щеки его почти сплошь заросли чёрным жёстким волосом, и под усами не было видно ни губ, ни зубов. Юноше казалось, что Ключарев думает не об игре, оттого всегда и проигрывает Шакиру. Он ждал от чёрного человека каких-то интересных рассказов и – дождался. Однажды певчий, не отрывая глаз от шашек, заговорил:

– Видел я сон: идёт по земле большой серый мужик, голова до облаков, в ручищах коса, с полверсты, примерно, длиной, и косит он. Леса, деревни – всё валит. Без шума однако.

Наталья спокойно догадалась:

– К морю это. К холере...

– К холере? – сомневаясь, повторил Ключарев и, подумав, продолжал: – Вдруг бы да въявь – пришёл такой огромный человек, взял бы это колокольню за шпиль, да и начал садить её по домам, по крышам, по башкам...

Пушкарь, неодобрительно качая головою, сказал:

– Опять ты, Яким, завираться начал!

А Шакир, качаясь, смеялся.

– Ай-яй! Ай, какой, шалтай-балтай!

Ключарев посмотрел на солдата серьёзным взглядом расширенных глаз.

– Ежели снится? Сон – не враньё. Вот тоже как-то рыба снилась, вроде сома, только зубастая. И летит на крыльях, – сажён полсотни крыло у неё...

– Ну? – спросил Матвей, видя, что пожарный замолчал, погружаясь во мрак своих снов.

– Ну – летит. Ничего. Тень от неё по земле стелется. Только человек ступит в эту тень и – пропал! А то обернётся лошадю, и если озеро по дороге ей – она его одним копытом всё на землю выплескивает...

Слова его, проходя сквозь густую заросль чёрных волос, тоже становились чёрными и мохнатыми, подобно паукам.

– Белая рыба-то? – задумчиво спрашивает Наталья.

– Серая. Как пыль, цветом.

– К дождям это, что ли? – соображает Наталья. – Белая – к снегу. Лошадь, – оттепели не будет ли?

– Пушкарь! – подмигивая Матвею, говорит Шакир. – Как этот сухой рыба зовём-та?

– Сазан? Судак?

Татарин хохочет.

– Она – судак! Рыба – судак, пожарный – чудака. Ай-яй, любят ваша шалтай-балтай язык, ах! Мынога выдумала русска; скушна стала – ещё выдумывает! Язык – верстой, слова – пустой, смешной чудака-судак!

Матвею показалось, что татарин сказал какую-то правду. Однажды он спросил Ключарева, откуда тот родом, и удивился, узнав, что певчий – слободской.

– А я думал, ты дальний! – разочарованно сказал он. Тот поднял треугольное лицо и объяснил, пристально глядя на Матвея:

– Нас, Ключаревых, две семьи: Макара да Григорья. Я – Макаров.

– Н-ну? – сомнительно усмехаясь, сказал Пушкарь. – Это не дознано. Скорее ты казначею Перекопову судьбою обязан. У нас по слободе очень трудно разобрать, от кого дети родятся. Бедность!

– Это ничего не означает! – толковал Ключарев спокойно и густо. – Я говорю, как по церковным записям числюсь. Сын Макара Ключарева, ну и – сын ему! Мне от этого ни прибыли, ни убытку.

И, обращаясь к Матвею, продолжал:

– Я бывал далеко. Пять лет в кавалерии качался. Пьянство – по кавалерии – во всех городах. В Ромнах стояли мы – хохлы там, поляки, – ничего понять нельзя! Потом – в Пинске тоже. Болотища там – чрезвычайно велики. Тоже скушно. Плохо селятся люди – почему бы? Лезут, где тесно, а зачем? Отслужил – в пожарную нанялся, всё-таки занятно будто бы.

Тёмные слова расползаются по кухне, наводя на всех уныние, и даже тараканы за печью тише шуршат.

– Я в мальчишках ещё любил огонь гасить. Бывало, товарищи разложат костёр, а я его затопчу, песком закидаю.

– На что? – спросил Матвей.

– Так. Днём и без огня светло, а ночам положено быть тёмными.

– Аллах делал, – задумчиво сказал Шакир. – Люди-та не трогай!

Но посмотрел на всех и, улыбаясь, добавил:

– А когда лошадка пасти ночью: холодна, волка ходит, – огонь нужна!

Иногда Пушкарь начинал говорить о своей службе, звучали знакомые Матвею слова: «шип-прутены», «кивер», «скуси патрон», «зелёная улица», «кладсь»... Часто он спорил с Ключаревым, замахиваясь на него книгой и счётами:

– Какой ты солдат, чёрный бес!

– А ты? – несокрушимо спокойно спрашивал певчий, не глядя на него. – Верёвки вьёшь?

– Тут не верёвки, идолобес, тут работа! Каждый должен исполнять свою работу. Всякая работа – государева служба, она для России идёт! Что такое Россия – знаешь? Ей конца нет, России: овраги, болота, степи, пески – надо всё это устроить или нет, бесов кум? Ей всё нужно, я знаю, я её скрозь прошёл, в ней работы на двести лет накоплено! Вот и работай, и приводи её в порядок! Нароботай, чтобы всем хватало, и шабаш. Вот она, Россия!

– Мне вязать некого, верёвок не требуется...

– Н-не надо-о? – завывал Пушкарь, извиваясь от гнева. – Не жел-лаешь, а-а? Скажи на милость! Стало быть – суда без причала, плавай как попало, а? Червяк ты на земле...

– Я – пожарный.

– Оттого, что – лентяй! Понимаю я идолобесие твоё: мы тут горим три, много пять разов в год, да и то понемногу, вот ты и придумал – пойду в пожарную, там делать нечего, кроме как, стоя на каланче, галок считать...

Пока они спорили, татарин, прищуривая то один, то другой глаз, играл сам с собою, а Матвей, слушая крик старого солдата и всматриваясь в непоколебимое лицо Ключарева, старался понять, кто из них прав.

– Чтобы всяк человек дела своего достоин был – вот те закон! Тут те всякой жизни оправдание! Работай! – свирепствовал Пушкарь, гремя счётами, хлопая по столу книгой, ладонью, шаркая ногами.

А Ключарев не торопясь пропускал сквозь усы:

– Наплевать мне на всё это, было бы сердце спокойно. Всем делам один конец: ходя умрёшь и лёжа – умрёшь!

Матвею вспомнилась любимая песня весёлого лекаря Маркова:

И поп – поmrёт,
И солдат – поmrёт.
Только тот не поmrёт,
Кого смерть не возьмёт!..

Тяжёлая, тёмная скука обнимала юношу мохнатыми лапами, хотелось лечь в постель и проспаться неделю, месяц, всю зиму.

Играли на полях певучие вьюги, осеняя холмы белыми крыльями, щедро кутая городок в пышные сугробы снега, выли по ночам голодные, озябшие волки, и, отвечая им, злобно лаяли трусоватые окурковские собаки. Редко небо бывало свободно от серых облаков, но хороши были те ночи, когда синева небес, до глубин своих пронизанная золотыми лучами звёзд, вся дрожала, горела и таяла. Ликуя, сверкали снежинки, словно звёздной пылью окропив землю, отдохавшую под их мягким пологом для новых весенних рождений. Покорно согнулись ветви деревьев, наклоня пуховые белые лапы; алмазами и смарагдами блещут сучья, одетые кружевом инея. Кресты церквей окопаны серебром, а скворешни стоят в пышных шапках; на крыши домов плотно легли толстые гривы сугробов, свесив края, узорно вырезанные ветром. Морозный воздух чутко звонок, степенное карканье ворон, озабоченных холодом, весёлое треньканье синиц, смешной скрип снегирей легко разносились по городу из конца в конец. А вокруг него на холмах оледенела тишина, и Окуров стоит на блюде из серебра, кованного морозом, отчеканенного вьюгами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.